

8 жизней госпожи мук

миринэ ли

8 жизней госпожи Мук

Миринэ Ли

Аннотация
Миринэ Ли. 8 жизней госпожи Мук
Пролог
Пятая жизнь
  Призрак Девственницы на северокорейской границе. (1961)
Первая жизнь
  Когда я перестала есть землю. (1938)
Третья жизнь
  Дом вверх дном. (1950)
Вторая жизнь
  Рассказчики. (1942)
Четвертая жизнь
  Я, снова я и родинка. (1955)
Шестая жизнь
  Шпион, который пишет желтым. (2005)
Седьмая жизнь
  Признания обычного брака. (2006)
Восьмая жизнь
  8 жизней госпожи Мук
Благодарности
Выходные данные

Аннотация

В доме престарелых «Золотой закат» постояльцы нередко придумывают истории. Поэтому, когда одна из них, пожилая госпожа Мук, начинает делиться своими воспоминаниями, она встречает скептическую реакцию слушателей. Женщина утверждает, что была матерью, любовницей, рабыней, шпионкой, убийцей и террористкой. В ее рассказах оживают события, происходящие в Индонезии в годы Второй мировой, Сеуле времен Корейской войны и Пхеньяне периода холодной войны. Истории красочные и пугающие, и настолько разнообразные, что трудно поверить, будто они могут приключиться с одним человеком. Или все же могут?

Миринэ Ли
8 жизней госпожи Мук

NoAge

polyandria

2026

Mirinae Lee
8 Lives of a Century-Old Trickster

Перевел с английского *Сергей Карпов*
Дизайн обложки Марии *Кошелевой*

Copyright © Mirinae Lee 2023
© Карпов С. А., перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2026

*** * ***

Несмотря на мрачность пересказываемой истории, это прежде всего приключенческий роман, подпитываемый тем же праведным гневом, что превращает обычных смертных в супергероев в масках.

The Wall Street Journal

Премии и номинации:

— Победитель William Saroyan International Prize for Writing (2024)

— Победитель Wilbur Smith Adventure Writing Prize (2024)

— Победитель Prix du Roman Fnac (2025)

*** * ***

Посвящается моему мужу — моей музе
и величайшему герою моей книги

Пролог

Эта идея посетила меня, когда я приходила в себя после развода.

Мне было сорок семь лет. Избыточный вес. Ребенка, который заполнял бы одинокие тихие дни, не было. Я не из независимых современных женщин, которые изначально не планируют иметь детей. Я-то хотела ребенка, но муж не мог зачать — по его словам, из-за олигоспермии. Я предлагала попробовать ЭКО, но он отказался, сказал, что для него это слишком *унизительно*. Потом я была вне себя от ярости, узнав, что за месяц до нашего развода он уже записался в знаменитую клинику планирования семьи в Каннаме — со своей новой девушкой, на двенадцать лет его моложе. Мне еще неделями снилось, как я забиваю мерзавца до смерти. В реальности, конечно, у меня на это не хватало ни смелости, ни склонности к насилию. И все-таки я представляла, как ворвусь в его кабинет на площади Кванхвамун, словно какая-то разгневанная на мужа-изменника аджумма[1]

[1] Примечания: 1

Аджумма (тетя) — замужняя женщина или женщина среднего возраста, обычно старше тридцати. — *Здесь и далее примеч. перев.*

из корейской утренней дорамы, разбрасывая листовки со всеми грязными подробностями его делишек, и буду кричать, перечисляя его прегрешения перед коллегами, которые немедленно перестанут с ним общаться. Конечно, эту фантазию я так и не воплотила: для меня *унизительно* истерить. Но вот потешить себя такой мыслью — другое дело.

Я отчаянно искала перемен в жизни. Записалась в спортзал и занималась по часу три дня в неделю. Хоть я сбросила вес и почувствовала себя здоровее, одних физических перемен мне оказалось мало. Я всегда была задумчивой, любила читать, размышлять и что-нибудь набрасывать в молескине. Мне требовалось не просто здоровое тело. Мне требовались перемены, которые затронут и дух.

Я ждала сеанса у психотерапевта и листала женский журнал в приемной, когда наткнулась на статью. В ней рассказывалось о враче из сингапурского хосписа, который помогал умирающим пациентам организовывать похороны и писать собственные некрологи перед смертью. Врач объяснял, что, вопреки общепринятому мнению, смертельно больные пациенты не так уж боятся смерти, их больше волнует то, что будет дальше

— траур и переживания любимых. И его программу встретили с удивительным энтузиазмом. Многие пациенты сообщали, что после организации собственной смерти чувствовали себя лучше и физически, и психически. Это давало ощущение контроля и уверенности — и бесценную возможность обрести смысл в своем коротком путешествии на земле.

Я показала статью директору Ха Ам, своей начальнице, и сказала, что хочу открыть такую же программу для наших пациентов. Я не могла пожаловаться на свою работу в «Золотом закате» — там и платили прилично, и гарантировали много оплаченных отпускных дней, меня не утруждали ни график, ни обязанности. Я была кем-то вроде бухгалтера, хотя официально моя должность называлась «личный помощник директора». Директор Ха Ам была обходительной женщиной лет пятидесяти, которая после двух разводов воспитывала трех детей с двумя разными фамилиями. Казалось, ей не так уж интересен «Золотой закат»; мне она говорила, что выбрала эту работу главным образом за стабильность, без которой не обойтись матери-одиночке с тремя детьми.

Директор Ха Ам нервно побарабанила по столу

кроваво-красными ногтями, а потом объявила, что у «Золотого заката» нет средств на заказные похороны. Я ответила, что многое изменит уже одна программа некрологов, без похорон. Скрепя сердце Ха Ам дала добро — после того, как я пообещала, что это не повлияет на мои основные обязанности, а если потребуется, я буду работать сверхурочно. Перед уходом она встревоженно посмотрела на меня, словно думала: «Как же это знакомо». Но вслух сказала только:

— Позвони, если когда-нибудь понадобится выговориться за бокальчиком.

Слушая удаляющийся цокот ее каблуков, я гадала, насколько проще дается второй развод.

Сначала программа по написанию некрологов помогла мне на практике. Она отвлекла от мыслей о разводе. До сих пор мой разум бесконечно наматывал круги между мужем и развалившимся браком, как преданный пес, но теперь наконец обратился к другим людям.

«Я пришла, чтобы помочь написать ваш некролог, — говорила я нашим старичкам самым успокаивающим голосом, на какой была способна. — Вы можете рассказать вкратце историю своей жизни — обо всем, что приносило вам счастье, обо всем, чем вы гордитесь, обо всем, о чем

жалеете. О том, какими вас должны запомнить другие — люди, которые вас любят и переживают за вас».

Сделав несколько глубоких вздохов, большинство раскрывались вполне естественно. Понимание, что твое время на свете ограниченно, вселяет удивительную честность, отключая ненужный шум на заднем плане, который обычно заглушает жизнь. Тем немногим, кому было все-таки трудно начать, я предлагала простую подсказку, которая ни разу не подводила: «Выберите три слова — существительное, прилагательное, глагол, что угодно, — которые лучше всего описывают вас или вашу жизнь». Три — это волшебное число, люди обязательно начинают задумываться. Одно слово слишком ограничивает, у двух — неприятный подтекст, будто это намек на двойную жизнь. Но три — идеальное равновесие: триумвират, трилогия, троица. Так людям проще: не слишком много, не слишком мало.

Перед завершением жизни людям хочется оставить след в мире, пусть даже маленький. А написание своего некролога подтверждает, что жизнь прошла не зря — и для них, и для тех, ради кого они с радостью жертвовали своими личными мечтами. Молодежи кажется, буд-

то некролог — что-то грустное и серьезное, но старики понимают: среди многого прочего это привилегия. Старики, которые любят листать газеты, знают, что официальный некролог печатают в случае смерти известного человека. Даже знаменитостям приходится постоянно бороться за тесное пространство; большинство были бы рады и паре строк, лишь немногим избранным достается абзац. О целой странице, понятно, и говорить не приходится, если только вы не высокопоставленный политик: бывший президент, влиятельный военачальник. Но в «Золотом закате» любая смерть достойна целой страницы. На этом и стояла моя идея: разве мы все не заслуживаем полноценный некролог? Хочется верить, что любой смерти и жизни, даже самым неизвестным и неудобным, есть что рассказать. А я посвящала свои уши и ручку этому последнему свисту перекати-поля.

Впервые я встретилась с госпожой Мук на второй день китайского Нового года. Я вызвалась работать в праздники сама, потому что еще была не готова к первой большой семейной встрече после развода. Я знала, какими вопросами меня забросают дядюшки и тетушки, а особенно — двоюродные братья и сестры, которые все еще

в счастливом браке, с детьми. Я была не готова к тому, чтобы другие бередили мои раны.

Государственный дом престарелых в большой национальный праздник — это, наверное, самое одинокое место на земле. Больше чем у трети обитателей «Золотого заката» ближайших родственников не было. Немногих везунчиков, кому хватало здоровья и кто поддерживал тесную связь с семьей, забирали на пару дней. Когда счастливчики покинули дом, опустилась гнетущая тишина. Такая, что даже самые неусидчивые пациенты с деменцией впали в нечто наподобие угрюмой комы.

Тем вечером, сидя в одинокой тишине кабинета, я получила вызов от старшей сестры отделения «А». Там проживает та половина наших пожилых пациентов, которые страдают от болезни Альцгеймера. Обычно я не имела к ним отношения, потому что лишь люди в здравом уме в состоянии сочинять некролог. Но в тот день многие из персонала праздновали, поэтому мне пришлось помогать по мере сил.

Меня попросили посторожить комнату на двоих. Снова пропала бабушка Сон Чжэ Сун, объяснила старшая сестра. Моим делом было ждать и немедленно известить, если беглянка вернется к

себе, пока в ее поисках обшаривают все закоулки «Золотого заката». Я приперла открытую дверь складным стульчиком из кабинета и устроилась поудобнее. Сидела и оглядывала коридор с рацией в руке, надеясь увидеть бабушку Сон Чжэ Сун.

А потом я увидела кого-то в комнате — фигуру, прислонившуюся спиной к стене. Стройная пожилая женщина, в белом с головы до ног. Я тихо воскликнула.

— Не бойся, я не привидение, — шепнула она и неестественно рассмеялась. — Ты меня уже видела, помнишь?

Звали ее Мук Ми Ран, и она была соседкой бабушки Сон. Я и в самом деле уже ее видела, когда приходила в эту комнату. Тогда она лежала в постели, спросонья. Теперь я ее и не узнала стоя, она оказалась высокой, тогда как в постели не отличалась от других молчаливых съеженных старческих тел.

— Это же ты у нас по некрологам? — Ока широко улыбнулась, и кровь прилила к ее лицу.

Мук Ми Ран была женщиной странной внешности и с еще более странной фамилией — я никогда не встречала корейцев с фамилией Мук. Ее пышная кудрявая прическа, белая до единого волоска, сияла нимбом вокруг головы. Руки и

ноги длинные и тощие, будто у краба-стригуна. Под флуоресцентными лампами казалось, что ее тело можно читать как карту. Через прозрачную кожу просвечивали вены — перепутанные горные тропинки, лиловые и бледно-голубые. Тот же отбеливающий свет нарисовал тени-бабочки под ее высокими скулами.

— Да, это я по некрологам, — ответила я, все еще приходя в себя от удивления.

— Я видела в саду космей, как ты разговаривала со стариками.

Она сказала «старики» так, будто сама не такая. И все-таки, учитывая ее проницательный взгляд и хорошую память, я подивилась, как она попала в отделение «А».

— Напиши и мой некролог, — попросила она, обнажая сколотый передний зуб.

Я скрыла недоумение и сказала, что, если она не против, мы можем поговорить прямо сейчас, пока ждем ее соседку. Меня удивило, как ясно она мыслит, но я все еще держалась начеку: раз уж администрация назначила ее в отделение для пациентов с Альцгеймером, на то наверняка были причины.

— Вы помните, почему находитесь здесь, в отделении «А»? — начала я довольно безжалостно,

чтобы понимать, стоит ли тратить время. Мне не улыбалось возвращаться на следующей неделе, только чтобы встретить непонимающее лицо и крик «Вы еще кто такая?».

Госпожа Мук ответила, что сначала находилась в обычном отделении, но полгода назад ее перевели сюда, хоть она сама не поняла почему.

— Я бы сказала, у меня с мозгами все в порядке, но теперь это не мне решать, да? — прошептала она. От улыбки у нее дернулись щеки.

Все еще не избавившись от подозрений, я задала первый серьезный вопрос:

— В каких трех словах вы бы подытожили свою жизнь?

Она подошла к кровати и села. Медленно отвернулась и вперилась в стену. Ее лицо было совершенно пустым — плоским и бледным, прямо как штукатурка на стене за ней. Рот приоткрыт, глаза потемнели. Отключается, решила я, ожидая неизбежного: скоро она переведет на меня взгляд и спросит, кто я такая, что я здесь делаю.

Но взамен услышала фыркающий смех.

— А ты правда думаешь, что человек может подытожить всю свою жизнь всего в трех словах? — пробормотала она, все еще не отрываясь от стены.

Вопрос застал меня врасплох, но я изобразила спокойствие. После недолгой паузы спросила, сколько слов надо ей.

— А какими были бы твои три слова? Ты сама об этом задумывалась? — И снова она задала свой вопрос, пропустив мимо ушей мой.

Меня охватило странное напряжение. Как будто мы с бабушкой Мук вдруг вступили в войну вопросов и тот, кто ответит первым, проиграет. Я выдавила слабую улыбку — чуть приподняла уголки глаз и губ, не показывая зубы, чем обычно обезоруживаю недоверчивых дедушек. Отчасти я делала это потому, что не могла ответить. Я понятия не имела, какими будут мои три слова. Никогда не задумывалась, хотя других спрашивала постоянно. Но еще никто не спрашивал меня.

— Госпожа Мук, хотите, я поговорю о вас с администрацией? — спросила я, прячась за улыбкой профессионала, как за щитом. Я пояснила, что могу узнать насчет ее переселения, если она думает, что находится здесь по ошибке. Сказала, что наши пожилые постояльцы, кому я помогаю с некрологами, находятся в обычном отделении. Я знала, что уж от этого вопроса она так просто не отмахнется.

— Необязательно, — небрежно сказала она,

снова обманув мои ожидания. — Меня устраивает и отделение «А». И в конце концов, разница невелика, правда? Ни там, ни там нам не разрешается гулять по территории в одиночку. К тому же жителям отделения «А» дается на час меньше на ежедневную прогулку в саду, людей здесь не так много, а значит, и места больше. Раньше, в обычном отделении, я жила в одной комнате сразу с тремя соседками. Здесь — только с одной. Так уединенней.

— Но вам разве не тяжело с бабушкой Сон?

Я уже слышала о ее побегах. Старшая сестра рассказала, что состояние бабушки Сон быстро ухудшается — порой она размазывает экскременты по стенам.

Я услышала очередной смешок, в этот раз тише.

— Я сама попросилась в одну комнату с ней, — сказала госпожа Мук. И опять ее ответ застиг меня врасплох.

— Почему?

— Если знаешь контекст жизни другого человека, с ним проще жить. Даже если у этого другого человека Альцгеймер. — Она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза: — Ты знала, что оба ее родителя погибли во время японской ок-

купации[2]?

Я покачала головой, гадая, к чему она ведет. Поджала челюсть, как всегда подсознательно делала от нетерпения.

Госпожа Мук рассказала, что родные бабушки Сон в течение многих поколений были зажиточными землевладельцами. Но всего за одну ночь японцы лишили семью практически всего — конечно, под надуманным предлогом.

— Тогда это случалось сплошь и рядом, — добавила госпожа Мук просто. — К счастью, ее родителей предупредили в последнюю минуту перед тем, как ворвалась японская полиция и все перевернула. Они не успели спрятать крупные вещи, только мелочи. — Госпожа Мук взглянула на меня так, словно ожидала, что я договорю

---

[2] Примечания: 2

Японская оккупация Кореи фактически длилась с конца XIX века, но официально колонией с японским генерал-губернатором Корея была в 1910–1945-х: Японская империя подчинила себе Тайвань и Корею с согласия США, с которыми на тот момент наладила отношения.

Оккупация была очень жестокой и милитаризованной — даже школьные учителя носили форму и меч. Японцы старались стереть корейскую культуру: в разные периоды запрещали корейский язык и имена (заменяя их на японские), насильно заменяли традиционный буддизм синтоизмом, разрушали культурные памятники, вели активную пропаганду превосходства своей культуры.

Но при этом Япония пользовалась существующим расколом в обществе и возвысила большую часть прослойки янбан — высшего и богатого сословия, которое исторически наживалось на рабском труде крестьян. (Хотя не все корейское высшее сословие поддерживало

японцев — среди них было движение националистов.) Янбан сотрудничали с оккупантами, тогда как коммунистически настроенный народ оказывал сопротивление. Все восстания жестоко подавлялись — в процессе могли уничтожаться целые деревни. В результате сопротивление оттеснилось севернее и обратилось за помощью к СССР и Китаю — именно это в конце концов и приведет к появлению разных режимов в Северной и Южной Корее: на Севере власть отошла к народным повстанцам (Ким Ир Сен пришел к власти именно как герой сопротивления Японии), тогда как на Юге — к богатым землевладельцам и промышленникам (первый президент и диктатор Южной Кореи, националист из зажиточной семьи Ли Сын Ман, в 1910–1945 годах проживал в США и даже не бывал в Корее).

за нее. Растерявшись, я только молча смотрела в ответ. — Бабушке Сон и ее младшим сестрам пришлось глотать драгоценные камни и кольца, как можно больше и быстрее. Полиция забрала все ценное и убила родителей на месте, на глазах у детей. Но Сон надо было действовать. Некогда было лить слезы. Она стала главой семьи. В следующие дни ей пришлось копаться в дерьме, своем и младших сестричек, чтобы найти драгоценности. Теперь это было все их состояние. — Госпожа Мук заговорила иначе. Ее речь стала медленнее, сбивчивее. Лицо раскраснелось, на худой шее выступила венка.

Она сказала, что в «Золотом закате» Сон Чжэ Сун, когда Альцгеймер повернул ее время вспять, застряла в этом периоде детства — смерть родителей, воспитание младших сестер. Однажды госпожа Мук, глядя, как Сон снова размазывает фекалии, заметила, что та бормочет слова: «нефрит», «жемчужина», «рубин». Медсестры думали, это прозвища ее младших сестер. Госпожа Мук знала, что они ошибаются.

— Она не просто игралась с какашками, как другие пациенты с деменцией. Она искала драгоценности. В ее разуме, в гаснущей памяти, она — снова тринадцатилетняя девочка, которая

пытается выжить.

Госпожа Мук встала и подошла к деревянному комоду. Присела и аккуратно отперла на нижнем ящике силиконовый детский замок. Достала круглую ржавую банку из-под сладостей «Фрути дропс». Положила мне в руки и жестом велела открыть.

Внутри лежал десяток блестящих игрушечных украшений из пластмассы.

— Это детские игрушки. Большие, чтобы их нельзя было проглотить. — Госпожа Мук взяла самую тяжелую игрушку, в виде овального бриллианта размером с глазное яблоко, с выгравированной Сейлор Мун. Она сияла аляповато-розовым цветом. — Я даю их бабушке Сон, когда вижу, что она опять собирается копаться в фекалиях. Говорю, что она уже нашла драгоценности. И тогда она радуется и тут же бросает свое занятие. Незачем применять силу. Можно обойтись без шприцев и драмы.

Лишившись дара речи, я уставилась на Сейлор Мун.

Потом мой взгляд переместился к комоду за спиной госпожи Мук — и наткнулся на стопку бумаги во все еще выдвинутом нижнем ящике. Рядом лежала горка разноцветных вещей, кото-

рые я не могла разглядеть на расстоянии.

— Что еще у вас в ящике? — спросила я.

Госпожа Мук впервые занервничала. Быстро вернулась и задвинула ящик.

— Ничего запрещенного, — ответила она спокойно, но в ее глазах поблескивало беспокойство.

Когда я собралась повторить вопрос, у меня на коленях заскрипела рация.

— Охрана нашла бабушку Сон, — прорвался через помехи голос старшей сестры. — Она заснула в подсобке уборщика, представляешь?

Я услышала издалека торопливые шаги — видимо, кто-то уже нес госпожу Сон к ней в комнату.

Я перевела взгляд на госпожу Мук:

— Мы сможем еще встретиться?

Мне нравилось в саду космей, даже когда там не было цветов. Я любила гулять под солнцем, вдали от запаха «Клорокса» и старой мочи, пронизывающего каждый уголок жилых комнат и коридоров в доме престарелых. К тому же у солнца есть волшебная сила: иногда отчаяние, что разверзалось у моих ног по ночам, робело тревожить меня при свете дня.

Госпожа Мук тоже в свете солнца казалась другой. День стоял сухой, безветренный. Солнце

— пылающее око посреди кислотно-синего неба. Госпожа Мук появилась в инвалидной коляске — ее прикатила госпожа Ток Ко, самая пожилая медсестра из отделения «А».

— У вас полтора часа, а потом бабушке Мук надо принимать ванну, — сказала Ток Ко, взглянув на нас с неприкрытой враждебностью, и вернулась в дом.

Солнце слепило так, что резало глаза. Госпожа Мук прищурилась, приложила ладонь козырьком ко лбу. Со слезящимися глазами она выглядела беспомощной и изможденной, как почти все пациенты отделения «А». На солнце, в отличие от флуоресцентных ламп, ее волосы и белый халат казались даже белее. Сидя так без движения, она больше напоминала гипсовую статуэтку, чем живого человека.

Но стоило ей открыть рот и заговорить, как она сразу стала прежней собой.

— Не терпится обо мне написать, да? — спросила она, и уголок ее рта чуть приподнялся.

Как ни странно, в ее старческом лице я вдруг увидела озорного мальчишку.

— Не терпится послушать, что вы расскажете. О том, чтобы записывать, я пока не думала. — Что было чистой правдой.

Госпожа Мук словно смаковала тишину перед тем, как приступить к своей истории. В эти секунды ее чахлое тело как будто всосало воздух вокруг. А пока она говорила, я гадала, что же меня привлекало к ее словам. Это не было очевидным. Говорила она в основном медленно, всегда — тихо. И все-таки она была из тех, кого люди слушают внимательно, редко перебивают. Полная моя противоположность. Мне не повезло родиться с такой харизмой. По словам моего мужа, я та, кто легко подчиняется другим. Та, кого слишком легко впечатлить и обмануть.

Именно такой, обманутой, я себя и чувствовала в течение нашей беседы. Хотя начало ее истории и завораживало, оно пестрило невероятными событиями. На вопрос о возрасте она ответила, что ей послезавтра будет сто. Но она никак не могла быть настолько старой. Я бы не дала ей больше восьмидесяти семи. В «Золотом закате» я насмотрелась на дряхлых стариков векового возраста, но никто не говорил так едко и задорно, как она.

Я не понимала, как быть. Злиться, что меня приняли за дурочку, способную поверить в такую ерунду? Оставаться спокойной, как журналистка, и пытаться найти логику в нелогичной ситуации? Или просто увлеченно наблюдать за этим

театром абсурда? Я неуверенно остановилась на последнем и слушала, борясь с желанием забросать ее вопросами.

Она сказала, что за жизнь сменила три гражданства:

— Я родилась японкой, жила в Северной Корее, а умираю южнокореянкой.

Ее поколение родилось при японском колониальном правлении, поэтому формально госпожу Мук можно было назвать японкой. Но вот «жила в Северной Корее» уже не лезло ни в какие ворота. Я спросила, когда она сбежала в Южную, не во время ли Корейской войны, а она ответила, что получила гражданство только после того, как поседела.

— Всю жизнь я провела в Пхеньяне, — добавила она небрежно, словно это самый обычный город, куда может наведаться любой, когда захочется.

Одна моя половина с сомнением приподняла бровь, но вторая половина кивнула. Этот факт из предыстории госпожи Мук объяснял хотя бы одну ее тайну: акцент. В ее речи, хоть и слабо, чувствовалась уникальная интонация, которая в неожиданных местах то поднималась, то опускалась, — акцент одновременно и простой, и напевный. Я предположила, что это поблекшая

версия акцента Канвондо[3], но точно определить не могла.

— Япония. Северная Корея. Южная Корея, — повторила за ней я. — Вот у вас уже три главные идеи для некролога. Не думаете, что они описывают вашу драматичную жизнь? — спросила я с напускной улыбкой.

— И почему ты так держишься за свои три идеи? — спросила она, чуть склонив голову набок, будто ворона. — Что, это какое-то священное число?

Я неловко пожала плечами и покачала головой:

— Это практично, только и всего. Одно или два слова слишком ограничивают, а, скажем, сразу девять — уже много, отбивает желание размышлять. Три — прекрасное число для всех. — Госпожа Мук, резко дернув головой, отвернулась, как голубь:

— Ха. — Звук между смехом и фырканьем.

Теперь она смотрела прямо на медово-золотой свет, падающий в сад космей под углом, и ей пришлось прищуриться.

---

[3] Примечания: 3

Канвондо — северная провинция Южной Кореи с административным центром в городе Чхунчхон; до разделения Кореи в 1945 году Канвондо в Южной Корее и Канвондо в Северной Корее были одной провинцией.

— Тогда восемь, — объявила она.

— Что?

— Восемь. Назову тебе восемь слов. Сойдемся на этом. Ты сама сказала, что девять — слишком много, а мне слишком мало трех. Значит, восемь. Считай это знаком уважения к твоему методу, госпожа Писательница. — Она повернулась ко мне и подмигнула. Хоть это больше напоминало нервный тик.

— Ну и какие ваши восемь слов, госпожа Мук? — спросила я, заметив, что на ее лицо вернулась кривая лукавая усмешка.

— Рабыня. Беглянка. Убийца. Террористка. Шпионка. Любовница. И Мать.

Я сидела молча. Увидела, как ее глаза загораются, будто рождественская елка — она пришла в восторг оттого, что сразила меня наповал, и ей не терпелось услышать мою реакцию.

— Это семь слов. Не восемь, — ответила я.

— Значит, и правда слушаешь, — сказала она, и ее озорная улыбка стала еще шире.

Она спросила, какую историю я хочу послушать больше всего, и я ответила:

— Убийца.

Госпожа Мук рассмеялась. Удивительно, сказала она, я не похожа на ту, кто с ходу выберет

убийцу. Она-то думала, я первым делом схвачусь за любовницу или мать.

Я ответила, что она во мне ошиблась.

— Так кого вы убили? — спросила я.

Она поцокала языком:

— Не так быстро.

Пятая жизнь

Призрак Девственницы на северокорейской границе (*1961*)

Она, конечно, была не настоящим призраком. Да и насчет девственности мы сомневались. Но прозвали ее так из-за одежды: легкий бежевый ханбок[4] из плотной грубой конопляной ткани — то, что носят только плакальщицы или призраки девственниц из сказок: чарующие, неземные красавицы, скончавшиеся слишком рано и вечно страдающие оттого, что у них никогда не было мужа. Мне нравилось леденящее шуршание ее накрахмаленной одежды, когда она резвилась, словно бешеный щенок, в высокой дикой серебристой траве на поле у реки Имджинган. Ее непокорные густые волосы всегда украшал свежесорванный цветок. Появлялась она только осенью, поэтому цветком обычно была либо космея, либо одуванчик. Изредка она срывала созревший одуванчик — колючий клубок семечек.

---

[4] Примечания: 4

Ханбок (в КНДР — чосонот) — традиционный корейский наряд (обычно имеется в виду стиль династии Чосон). Состоит из нескольких предметов: чогори — распашная куртка, паджи — шаровары, чхима — женская юбка.

На ветру ее волосы выглядели так, будто кого-то стошнило ей на голову жидкой рисовой кашей. Но мне нравились эти ее причуды.

Никто не хотел признавать это вслух, но все считали ее красавицей. Парни ее и опасались, и обожали; говорили, она видит привидений, даже может с ними общаться. Это, наверное, из-за небольшого косоглазия; зрачки у нее были большие, словно она целый час жевала мак. Ее жуткий взгляд — обычно в сопровождении высокого смеха в ритме стаккато, из-за чего казалось, будто она подавилась, — пронизывал насквозь: словно она смотрела не на тебя, а на какое-то жуткое создание, рыщущее у тебя за спиной. И каждый раз, когда мы встречали ее в высокой дикой серебристой траве на поле у Имджинган, наши сердца бились быстрее. Конечно, ее окружала загадка. Никто не знал, сколько ей лет; из-за странной внешности ей можно было дать и пятнадцать, и тридцать пять. Никто не знал ни ее родителей, ни откуда она родом.

Но в то время было обычным делом видеть, как приходят и уходят незнакомцы. Война привела к несметному числу сирот, чьи родители либо погибли, либо остались на севере, когда страна раскололась надвое. Пример такого невезения

— мой лучший друг Ён. У него из родных остался только старший брат Ван, казавшийся Ёну кем-то невероятным — отцом, матерью и самим Богом. Ён был не из тех, с кем хочется дружить. Самый мелкий и шумный мальчишка в классе, из левого уха у него часто без причины текла кровь. Мой отец звал его сбежавшим из цирка. Ён вечно зализывал немытые и нечесаные волосы бриолином брата, сделанным из лярда, наверное, чтобы замаскировать грязь, но в результате от него только несло одновременно и канализацией, и бойней. Я рискнул объединиться с ним во втором классе, когда он заступился за меня перед пятью пятиклассниками, — они надо мной издевались, обзывали выродком коммунистов, потому что я родился на севере. Нас вместе поколотили так, что потом у обоих шаталось по зубу. Я узнал, что Ён тоже родом с севера, и, хоть мы не помнили ничего из жизни по ту сторону границы, это общее бесславное прошлое сплотило нас и сделало братьями по крови.

Наше селение, Кымпари, находилось в верховьях реки Имджинган. Так близко к тридцать восьмой параллели, что в ясный безветренный день даже было слышно северокорейскую радиопропаганду — мы с Ёном часто пародировали

этот странный, жеманный, истерический голос. Ён сказал, что близ Пханмунджома у реки Имджинган есть тайный ёлмок — узкая стремнина, такая мелкая, что ее мог перейти даже ребенок. А дальше только пара солдат — и DMZ, то есть демилитаризованная зона, возбужденно объяснял Ён. Он вечно зазывал в тайную экспедицию в Северную Корею. Я всегда соглашался, отлично зная, что это из тех планов, которые строишь, но никогда не выполняешь. Имджинган в любом случае была для нас всем: в ней мы плавали лето напролет, в ней отъедались илистой рыбой и лягушками. Осенью мы шныряли в высокой серебристой траве, захватившей весь берег и местами доходившей нам до подбородка с щекочущей надеждой застать там Призрак Девственницы. Мать много раз наказывала держаться подальше от берега, предупреждала, что после ливней можно наткнуться на старые мины, оставшиеся от янки, но меня это никогда не останавливало. Я был в том возрасте, когда твердое «нет» порождает только любопытное «да».

Ён любил делать вид, будто знает о Призраке Девственницы больше всех. Однажды, листая зачитанный «Плейбой» брата, он вдруг заявил, что-де ему известно, откуда она взялась.

— Я на днях слышал, что на самом деле она из Красного дома в Мунсане, рядом с военной базой янки. Ее туда продали в детстве, и несколько лет назад она сбежала. С тех пор скитается по стране и прикидывается сумасшедшей — ну знаешь, чтобы ее обратно не затащили. — Ён заявил это с бесстрастной искренностью, и я чуть было не поверил.

— Ни хрена! Эта сучка не из какого не Красного дома! — возразил его брат.

Ван сказал, что, будучи вторым по важности посетителем после янки, уже спрашивал пожилую хозяйку Красного дома. Она ответила, что под ее началом оттуда не выбралась еще ни одна девушка, если только им не везло выйти замуж за американского солдата, чтобы переехать жить в США.

— А значит, эта киска еще свежая! — закончил Ван, причмокивая губами.

Они с Ёном гадко рассмеялись, будто мелкие злодеи из американских комиксов, и тогда я впервые почувствовал презрение к лучшему другу.

Вне зависимости от моего отношения к Ёну я всегда ненавидел его старшего брата. Ненавидел его лицо хорька с острым подбородком и узким свернутым носом, ненавидел, что от него всегда

несет соджу[5] и неприятностями. Типичный кошмар любого родителя: сквернослов, головорез, прожигавший дни за тем, что хлестал дешевый ром, курил траву и водился с бесславными «принцессами» янки. Я никогда не видел его за работой и часто гадал, откуда у него берутся деньги, которые он спускает на выпивку и Красный дом. Но когда я спрашивал Ёна, он прикусывал язык и отмалчивался.

Вскоре я узнал правду от своего отца.

В тот день лил дождь. Отец припозднился, вошел, испуская кислый аромат перебродившего макколли[6] и рвоты. Не говоря ни слова, он выволок меня во двор, включил тусклую ночную лампу под крышей и принялся осыпать тумаками по ушам, шее, груди, коленям. Моя младшая сестра, забыв о сне, забилась в темный угол, нервно обхватив босые холодные ноги и молча наблюдая. Мы с ней уже знали, как себя вести: не кричать, не плакать.

— Я же предупреждал, говнюк, что сверну тебе

---

[5] Примечания: 5

Соджу — традиционный корейский алкогольный напиток из батата или зерна. Крепость может быть от 18 до 45 градусов, самый популярный вариант — 20.

[6] Примечания: 6

Макколли — корейский традиционный напиток из ферментированной смеси вареного риса и воды. Крепость — около семи градусов.

хренову шею, если еще раз поймаю с этим сбежавшим из цирка уродцем! — орал отец.

Опыт приучил нас терпеть, закрыв рот и разум, пока его гнев не иссякнет. Обычно все прекращалось, когда я уже начинал выглядеть как проигравший боксер, истекая кровью по меньшей мере в двух местах.

Отец работал на американской военной базе. Там его называли управляющим по отходам, потому что заведовал он мусором. Работа мечты: полный доступ к тому американскому парадоксальному парадизу, что они звали хламом, а для нас был сокровищем. Все, что мы находили, обретало в наших отощавших руках новую цель. Их плавильный котел кухонных отбросов, который они называли свиной похлебкой, был нашим лучшим источником белка и кальция; затем объедки колбасы; мальвовые ошметки ветчины «Спам», — как говорила моя мама, смотреть страшно, зато есть вкусно; говяжьи кости, на чьих изгибах еще оставалось сочное мясо, — мать варила из них густой бульон комтан, чтобы наши кости были такими же стальными, как у плечистых янки. Их поношенная военная форма, перекрашенная в черный, стала нашей школьной, и толстые шерстяные подкладки спасали от

сильного зимнего ветра с севера. Их зачитанные комиксы «Супермен» и «Бэтмен» стали нашими библиями: непонятные тексты переводились в выдуманные истории на ночь, которые я рассказывал младшей сестре, вызывая у нее глубокий удовлетворенный вздох перед сном. Короче говоря, мы выросли на американском соре.

А работой старшего брата Ёна было этот сор воровать. Начал он, говорят, с того, что лазил на свалку, где работал мой отец, и таскал оттуда объедки и тряпки. Со временем он дорос до более рискованной версии грабежа: сколотив банду из других безработных разгильдяев, он воровал оружие. Когда военный грузовик с припасами замедлялся на крутом серпантине в горах Кымпари, Ван заскакивал в кузов, словно призрачная обезьяна; пока его помощник отвлекал водителя впереди, Ван сбрасывал как можно больше оружия остальным, поджидавшим у грузовика. Когда водитель чуял подвох и спешил назад, ушлые грабители уже рассеивались в зарослях долины Кымпари, которую знали как свои пять пальцев.

А что Вану прибыль, то моему отцу — потери.

Отец тоже не гнушался воровством американской машинерии. Каждые четыре месяца

он будил меня среди ночи и гнал помогать ему рыть яму за нашим туалетом, где мы закапывали большие мешки с холодным металлом. Далее всегда следовал внезапный визит людей в форме, которые обшаривали каждый закоулок нашего нищего дома. Поэтому, когда отец пригрозил сдать Вана, Ван пригрозил ему в ответ, насмешливо щерясь с намеком на грязную работенку, которой мы тайком занимались за туалетом.

Наверное, оскорблениями и побоями отец хотел меня научить: наша жизнь у границы Северной Кореи — это игра с нулевой суммой: бесконечное сражение, где либо побеждаешь ты, либо победят тебя; либо воруешь ты, либо украдут у тебя.

Скоро мальчишки перестали называть ее Призраком Девственницы: они решили, что это слишком обычно для такого сюрреалистического явления, и перешли на Ядада. Хотелось придумать свое имя, собственного изобретения, которое уже ни с чем не спутают.

«Ядададада» — так она кричала, когда за ней гнались мальчишки или она — за ними. Первый слог, «Я», она выкрикивала гулким баритоном, потом ускорялась, брала скрипичный ключ с точностью кастрата и, наконец, переходила к последним «да» с металлическим воплем, который

рвал нервы будто рысья лапа. Мальчишек этот звук и пугал и веселил: они говорили, в ее голосе есть и мужское и женское. И старались находить все новые способы ее разозлить, только чтобы послушать еще.

Они считали, она умеет говорить только «Ядадада» и что это имеет некое особое значение, потому что больше ничего от нее не слышали.

Я смеялся над их невежеством.

Я часто заступался за нее, когда другие пытались ее довести, например вырвать цветок из ее волос. Однажды она выбрала очень необычный цветок: огромную космею с лепестками длиннее среднего пальца моего отца, кроваво-лиловыми в середине и сладко-розовыми по краям. Цветок был таких необыкновенных размеров и оттенка, что с ним ее пышные волосы казались меньше, а страшное лицо — еще страшнее. Когда она задремала в поле серебристой травы, космею выхватили, чтобы выжать из девушки новое «Ядадада». Ничего не получилось.

В тот день ее глаза впервые показались удивительно пустыми: туманными, отрешенными, полными усталости. Я не знал почему, но надеялся, что, если вернуть цветок, ей чуточку полегчает. Я терпеливо дождался, когда маль-

чишкам надоест ее донимать и они наконец уйдут. Поднял цветок с грязного речного берега и аккуратно снял с лепестков крошечные соринки. Когда его вид показался приличным, я прибежал обратно на поле серебристой травы и нашел Призрак Девственницы там же, где она дремала, только теперь она таращилась на Имджинган все с той же бездной в глазах. Увидев меня, она сначала нахмурилась, но, когда я аккуратно протянул космею, ее лицо мгновенно озарилось, как у моей трехлетней сестры при виде шоколадки, которую тайком приносил домой отец.

Пока я наслаждался видом ее счастья, нежась в свете ослепительной улыбки, она вдруг схватила меня за руку и притянула к себе. У меня екнуло сердце, когда она заглянула мне в глаза. Ее глаза сияли, словно у привидения.

И самым нежным фальцетом, что только можно представить, она произнесла:

— Ялу-ялу.

Одарив меня очередной жуткой улыбкой всего в сантиметре от кончика моего носа, она сорвалась с места и скрылась в дебрях высокой серебристой травы.

А я остался стоять — неподвижный, как дохлая лягушка, и ноги приросли к серебристой траве,

примятой ее сном.

В голове так и отдавался шорох ее ханбока — и «Ялу-ялу».

Поэтому я отказывался звать ее Ядада. Для меня она навсегда осталась Ялу — моя личная Ялу.

Чем сильнее крепли мои чувства к Ялу, тем больше портилась дружба с Ёном. Может, именно это люди и называют взрослением — утрату друга детства, постепенную или одномоментную. Это случилось не только со мной — все дальше относило и самого Ёна, старавшегося походить на брата и мечтавшего вступить в его шайку.

Ён все чаще прогуливал школу. Раньше он прогуливал только в рыночный день в Мунсане, куда раз в месяц съезжались торговцы со всей страны, покупая и продавая все, что под руку попадется, от бешеного быка до зубочистки. Но мне не стало одиноко — я даже радовался своему уединению, потому что так мог проводить больше времени с Ялу.

Впрочем, она стала неуловимей. Я обходил все обычные места, где она появлялась: поле серебристой травы, поля золотого риса у Пханмунджома, заброшенную свиноферму у Имджингана. Говорили, на той жуткой ферме Ялу ночует. Раньше она принадлежала семье, поселившейся в Кымпа-

ри через несколько лет после перемирия Севера и Юга. Отец, лишившись всех свиней из-за ящура, покончил с собой, и вскоре скорбящая семья навсегда покинула наши края. Люди обходили ферму стороной, опасаясь чумы и привидений. Лишь горстка трепачей якобы шастала туда по темноте и распускали слухи, будто видели Ялу, бормочущую на неведомом языке, наверняка одержимую призраком скотовода.

Несмотря на всю мою привязанность к Ялу, сам я никогда не приближался к ферме после заката. Она снилась мне в жутких кошмарах: окровавленные свиньи с отрубленными ногами мечутся по зловонному загону, оглушительно хрюкая и пронзительно визжа. Поэтому я отправлялся туда только днем, когда все заливал яркий свет осеннего солнца. Внутрь никогда не заходил, а только оставлял у порога гостинцы для Ялу: красивые одуванчики и косые и с пригорков Кымпари; потрошеного соленого сома и леопардовых лягушек, наловленных в реке Имджинган.

Вернулась она только через несколько недель.

Случилось это на следующий день после того, как наконец завершился запоздавший сезон дождей. Я с хорошим предчувствием побежал к входу заброшенной свинофермы с ведром,

полным толстых сомов, — я наловил их в реке, которая еле ползла в половодье. То был день опалово-голубого неба — ни облачка, куда ни глянь. И все-таки у фермы было зябко — плакучие ивы закрывали солнечный свет каскадом светло-зеленых обвислых веток, танцующих в ритме нежного осеннего ветерка.

Вдруг я почувствовал, как у меня в черепе раскалывается солнце, затапливая зрение неоновыми узорами — колыхающимися, пульсирующими в ритм замедленному сердцебиению. Я почувствовал, что мир вращается, как улитка в галопе, как мое правое ухо врезалось в землю, как ее ржавый привкус отдался на языке. В левое ухо бурился трубный приглушенный вопль, словно голодный шмель.

А потом пришла боль — острая, как ледоруб. Боль такая жадная, что проглотила все мои чувства, накрывала урывками. Мой моргающий разум видел, как ко мне скользят две ноги. Она подхватила меня жилистыми руками, крепко прижала к груди — и побежала.

Краем глаза я видел, как мимо со скоростью света проносится Кымпари, река, пригорки, рисовые поля, незнакомые в дагерротипной насыщенной окраске. Но сам я не сводил взгляда с Ялу: с ее

раздувающихся и сужающихся от дыхания ноздрей; с острой ключицы, касающейся моей щеки; с жилистой шеи, потемневшей от солнца. «Какая скорость! Какая хватка!» — бормотал я про себя, дивясь силе, заключенной в этом стройном теле. И порой ее жуткий взгляд падал и встречался с моим — с улыбкой через слезы, с уверением, что все будет хорошо, когда ее необычный контртенор шептал: «Ялу, милый, ялу, ялу». Клянусь, клянусь всей Божьей любовью, что расслышал «милый» среди «ялу» — четкое и торжественное, словно церковный колокол в ночи. «Милый», — шептала она мне. Да-да, шептала; нет, то не мой горячечный разум присочинил, что мне хотелось услышать. Это слетало с ее языка, ее неземным голосом. Потом я увидел, как ко мне спешат две фигуры в ослепительно-белом. И потом — всё.

Меня называли чудо-мальчиком.

Мне сказали, я мог навсегда остаться без левой икры; сказали, я мог напрочь оглохнуть на левое ухо; сказали, в худшем случае я мог и умереть — лежа у свинофермы без сознания, истекая кровью.

Очнувшись, первым я увидел заплаканное мамино лицо. «Я же говорила не ходить туда после ливней, дурачок», — бормотала она. Несмотря на

укор в голосе, я знал, как она рада меня вернуть — целого и в сознании. Врач сказал, это практически чудо. Он ожидал, что начнется инфекция и левая нога останется покалеченной, а левое ухо — навечно закрытым к звуку. Но я их сохранил. Конечно, я до сих пор прихрамываю на левую ногу, левое ухо потеряло слух на семьдесят процентов, они покрыты шрамами разных размеров и цветов. Но какая разница? Они пережили — а с ними я — взрыв противопехотной мины. Врач с гордостью объявил меня единственной известной ему жертвой мины, что вышла из больницы со всеми руками и ногами.

Но я знал, что я не их чудо. Я чудо Ялу. Говорили, она принеслась в больницу взмыленная, как дикое животное, в чогори, жгуче-красном от моей крови.

Она пробежала без остановки, прижимая меня к груди, от Кымпари до Мунсана — приблизительно двенадцать километров по грунтовой вьющейся горной тропе, беспощадной и недружелюбной даже к могучему «кракену» — американскому военному грузовику. Местные поговаривали, будто это привидение мужчины внутри нее проявило выдержку. А мне она казалась маленькой богиней в обличье хрупкой девушки.

Выздоравливать было приятно. Не надо было ходить в школу; впервые за очень долгое время я стал центром внимания матери; селяне почитали меня за какого-то героя войны, часто навещали и приносили рисовый пирог на пару и горько-сладкий сок женьшеня. Единственным недостатком было то, что я не видел Ялу, потому что мне не разрешалось покидать дом. Мама боялась, что меня опять потянет к реке, и всеми силами этого не допускала. Но я слышал, что туда ходил отец: собрать на месте взрыва медные осколки и порох, чтобы продать за приличные деньги.

Как ни странно, я и сам не торопился встретиться с Ялу. Я чувствовал, что теперь мы неразрывно связаны, что в будущем нашим дорожкам уготовано пересечься. И я не торопился, репетируя речь которую произнесу, когда встану на ноги, чтобы выразить ей свою благодарность, все свои чувства, — не имея не малейшего понятия, что больше никогда ее не увижу.

Ён пришел в полнолуние — в осеннюю ночь перед началом долгого праздника Чхусок. Он знал, что мой отец на ночной смене. «Теперь мы с братом знаем все об армии в наших краях», — сказал Ён, его так и распирало от гордости.

Мы сели на деревянной завалинке на заднем

дворе. И минуту любовались тучной луной, заливавшей нас золотым светом, — любовались молча, словно парочка черепах. Я старался не показывать, но на самом деле был рад видеть Ёна. Я скучал, грустил, что он меня не навещал.

Признавшись в этом, я увидел, как его лицо ожесточилось, как на верхней губе поблескивал пот.

— Так, значит, ты ни хрена не знаешь, что было.

— О чем ты?

— О том, что сеульские шастали вокруг нашей деревни.

Я энергично покачал головой, заметив в его глазах зловещий отблеск — желтый блик тревоги, возбуждения.

— Обещай, что никому ни хрена не расскажешь, ни единой душе, даже матери или сестре, — прошептал Ён с легкой дрожью в голосе.

Я прикусил растрескавшуюся губу. Почувствовал, как язык смочила кровь. Кивнул, чтобы Ён продолжал.

— По округе ходят слухи, но только мы с братом знаем все. Ты же в курсе, что мой брат давно положил глаз на Ядаду. — Он помолчал пару секунд, искоса всматриваясь в мое лицо. Раскаяние, любо-

пытство, жестокость — во взгляде было все сразу. Как и положено настоящему мастеру допросов. — Однажды ночью брат пошел на свиноферму, ну знаешь, чтобы составить ей компанию — он часто это вытворяет, когда напьется. — Ён прервался, чтобы хихикнуть из-за каких-то его с братом отвратительных воспоминаний — мне об этом и задумываться не хотелось. Мне хотелось только одного: услышать, что случилось с Ялу.

— Продолжай, — сухо велел я.

— Повезло, она оказалась на месте, и брат попытался завести с ней разговор, а потом, ну знаешь, пощупать… Бедняжке наверняка там ужасно одиноко.

Голос Ёна напоминал голос Вана. Мое лицо стало гранитом. Я не мог шевельнуть языком. Перед мысленным взором я видел, как мои пальцы смыкаются на горле — Вана или Ёна, я не знал и сам.

— Ну, они повозились, и боже, брат говорит, тощая стерва крепкая, что твои бычьи жилы. А когда он наконец запустил ей руку в трусики, его ждал хренов кошмар! Хреново безумие! Потому что он обнаружил…

— Что она мальчик? — перебил я, вспотев от отчаянной надежды.

— Нет! — вскрикнул Ён, наморщив черные

брови. — Ты охренел? Нет, извращенец ты мелкий. — Ён пронзил меня взглядом, долгим и тяжелым. — Брат нащупал что-то холодное, тяжелое и металлическое — пистолет.

— Пистолет?

Ён жестом велел мне притихнуть, пригнулся и опасливо огляделся, как будто кто-то мог притаиться за кустом и записывать наш разговор. Потом, понизив голос, нарушил короткую паузу:

— Они боролись дальше, и, понятно, мой брат побеждал, но пронырливая сука тайком схватила камень и приложила ему по башке. И дала деру. Но брат уже завладел пистолетом, так что выстрелил ей вслед. И услышал вопль.

«Вопль» — это слово встало валуном у меня в горле.

— И пистолет-то у нее был необычный. Ну ты знаешь, мой братец может отличить М тысяча девятисотый от М тысяча девятьсот одиннадцатого даже в темноте, на ощупь. Но пистолет был даже не американский. На его рукоятке виднелся странный кружок с маленькой звездочкой. — Ён сделал глубокий вдох. Всмотрелся в меня выжидающе, рассчитывая на конкретную реакцию, но я ничего не понимал. — Не дошло? — Он вздохнул. — Пистолет производства гребаных

коммунистов. Эта драная сучка — с Севера.

Тишина — острая, как игла.

Я увидел слона — несоразмерного слона истины, вдруг возникшего голым, перекрыв все поле зрения исполинским задом. Мой рот раскрылся, но слова не шли.

Ён достал сигарету и закурил.

— Говорят, это Макаров. Гребаный советский пистолет, друг. Даже брат ничего такого раньше не видал. — Ён глубоко и нервно затянулся. — Мы с братом, ну ты знаешь, патриоты. И все рассказали. В тот же день деревня кишмя кишела от приехавших из Сеула. Многие даже без формы ходили. Серьезные мужики, слушай. Они взяли с нас обещание не говорить никому ни слова. Вот и ты теперь следи за языком, — напомнил Ён с церковной торжественностью, сжав меня за плечи обеими руками.

— Но я ничего не понимаю. Чем ей здесь было заниматься?

— Мне-то откуда знать? Блин. — Его пальцы нервно барабанили по деревянной скамье, дыхание присвистывало. — Хотя бы понятно, чего эта стерва такая сильная, такая быстрая и все дела. Ее так и не нашли.

И тут мои веки затрепетали, как крылышки

мотылька.

— Брат услышал, как она взвизгнула после выстрела. Но все-таки сбежала. И ее не нашли. Ни капли крови. Может, пуля только оцарапала. Надо было изловить сучку. Чертова шпионка коммунистов — чуть моего брата не прикончила, представляешь?

Глядя на Ёна, я почувствовал укол совести. В тот момент мне было плевать, даже если бы Вана застрелили. Было плевать, если бы Ён умер самой медленной смертью от тысячи раскаленных игл, — лишь бы выжила Ялу.

В тот миг я заключил сделку с Богом, хоть прежде даже не знал, что в него верю: хоть бы он позволил ей выжить, пусть в будущем наши пути не пересекутся никогда; я смогу жить счастливо дальше, не услышав от нее больше ни слова, лишь бы она выжила.

Мне было плевать на политику, на идеологии, проложившие границу. Пусть она враг — я хотел чтобы она жила.

Ён еще какое-то время трепался — о торговле которой занялся с братом, о разных девушках, с которыми встречается, а я с каждой секундой отдалялся от него все больше.

Только когда Ён попрощался, я заметил, что на

его лице промелькнула его юная, добрая версия. Он сказал, как рад, что у меня все хорошо, сказал, что вряд ли я его еще увижу в школе. Мне было и радостно, и грустно видеть, как он уходит.

После его ухода я остался в темном дворе. Любовался луной, окаймленной сероватым маревом, такой полной и спокойной, безразличной к драме смертных внизу, на границе. Всасывал бледное свечение, пока не защекотало легкие, и знал, что она всегда останется прежней, прекрасной и бессердечной, и на следующий год, и еще через год, пока мы угасаем, расстаемся или попросту меняемся.

Я вернулся в дом. И заплакал.

Я чувствовал, как маленькое чудовище, трепетавшее у меня в кишках, теперь пульсирует в мягком центре груди. Это была та крошечная пташка детства, которую я заслужил, но которой был лишен. Отныне я знал, что уже не ребенок.

Проснулась младшая сестра, которой на неделе исполнялось четыре. Уставилась на меня спросонья, приоткрыв рот. Присев ко мне на колени, быстро огляделась, машинально проверяя, нет ли рядом отца. Теперь совсем ничего не понимая, она положила ручку мне на плечо, все еще молча содрогавшееся, а второй нервно сжима-

ла свои стылые босые ступни. Я увидел, как ее глаза наполняются знакомым ужасом. И понял, что теперь мой черед утешать ее, говорить, что все будет хорошо. Я обнял ее, гладил по волосам кончиками пальцев, как когда укладывал спать, и твердил:

— Ялу, милая, Ялу, Ялу.

Первая жизнь

Когда я перестала есть землю (*1938*)

В детстве я ела землю.

Не из-за бедности и не из-за любопытства: меня просто что-то заставляло — как когда хочется пить.

Время от времени мой организм мучился от жажды земли, и у меня не оставалось выбора, кроме как исполнить его желание.

Но это не значит, что я только набивала живот: я смаковала запах, вкус и текстуру, как ничто другое в мире. Умение различать нюансы с раннего возраста помогало мне освоить искусство поедания земли. Знаю, это трудно понять негеофагам: они-то обычно считают, будто мы накидываемся на землю, как слепые от голода гиены на мясо.

Но я никогда не набивала полный рот: всегда щепоть, редко больше ногтя, едва ли тяжелее медной монетки в десять вон. Только так можно во всей полноте оценить привкус ржавчины — размазать мелкие гранулы по языку, позволить нёбу прочувствовать консистенцию, одновременно и нежную, и колючую.

Я всегда дожидалась идеальной земли. Когда вязкость будет как у риса жасмин на пару — такая лепкая, чтобы и скатывалась в шарик, и при этом крошилась, развеивалась от одного дуновения. Сильная влажность портит землю, превращает в слякоть, которую рот ассоциирует с дерьмом. Оттенок должен быть на первый взгляд коричневым, как у молочного шоколада. Но приглядись — и различишь крошечные разноцветные частицы. По большей части — орехово-коричневые, придающие щепоти узнаваемый теплый, ореховый вкус. Черные — как темные лошадки, чьи грубые копыта топчут по языку черно-кофейной горечью. Белые гранулы, блестящие, как самоцветы, но твердые, как кремень, — самые редкие: они придают гладкую, металлическую пикантность — словно кровь на губе. Правильная пропорция способна сделать из щепоти крошку рая во рту. Я обожала, когда земля ползла, шершавила по нёбу, словно ласка кошачьего языка. Хоть я и знала, что это вредно для зубов, остановиться просто не могла.

Отец думал, это все дело рук мстительного призрака. Деревенские старики соглашались: говорили, именно так дух недоедавшего ребенка обычно мучает живого — стараясь унять свой

голод пожиранием земли. Отец сказал, духа надо изгнать. И каждый раз, застав меня за поеданием земли, порол до визга. Но порка меня не останавливала. Делала только хуже, добавляла к поеданию земли азарта, тайного удовольствия запретного плода.

Отец меня не знал. У нас не было ничего общего, кроме бегущей по венам крови — он сам так и говорил. Он был безграмотным рыбаком, не веривший в важность образования. Он жил в простом мире, умел видеть его только черно-белым, не различая оттенков серого. Пил, чтобы напиться, ел, чтобы насытиться. Не ценил разнообразие привкусов еды и напитков, а такие слова, как «тонкость» и «нюансы», для него и вовсе не существовали. Он бы никогда не стал ценителем хоть чего-нибудь в мире. Он был не такой, как я; не такой, как мама.

А вот мама была утонченной. Она во всех мелочах различала вкусы и ароматы. Это она научила меня отделять лечебные травы от их ядовитых родственников: сахва пахнет горько, а санак испускает резкий ореховый запах, как ферментированные соевые бобы, объясняла мама, хмурясь. Еще она показывала, как отличить хорошую хурму от плохой, даже не касаясь: у зрелой сте-

белек бурый и засохший, видишь, а сам фрукт наливается чуть ли не киноварью. Я, ее ученица, наблюдала и наслаждалась миром, полным красок, раскрыв глаза в поисках малейших оттенков. В нашем с ней мире красный цвет никогда не был просто красным — он был киноварным, как зрелая хурма, алым, как кленовые листья в начале осени, бордовым, как запекшаяся липкая кровь, фуксиевым, как свежий синяк.

Ничего удивительного, что у нас с мамой был богатый словарный запас. Как иначе — без этого не опишешь все нюансы в нашем мире, все разные цвета, вкусы, запахи и чувства. И к двенадцати я знала уже раза в три больше слов, чем отец: когда он мог сказать только, что хочет есть, я хотела заморить червячка, голодала, изнемогала. Ему не нравилось, что девочка говорит слишком заумно. Каждый раз, услышав незнакомое его уху слово, он с силой давал пощечину маме, и на ее лице расцветал синяк цвета фуксии.

Мама была совершенной женщиной: умной, красивой, изысканной и любящей. Но ей приходилось тяжело расплачиваться за свой единственный крошечный изъян: избыток сочувствия. Я думала, что поэтому она и осталась в браке с узколобым увальнем вроде отца: это все

из-за чон — извращенного чувства привязанности, непрошеной жалости. Она была родом из зажиточной семьи. Ее отец был прославленным врачом восточной медицины в Сеуле, и это у него она научилась читать и писать, наслаждаться литературой и гастрономией, подбирать нужные травы для тысяч разных хворей. Но японская оккупация перевернула все с ног на голову: отца обвинили в участии в корейском сопротивлении, и японцы лишили его всего, что он имел. Испугавшись, что потеряет и дочь, он выдал ее за сына крестьянина на севере, подальше от Сеула. Родителей она больше не видела — оба сгинули в тюрьме. А скоро она родила меня.

Жили мы в Хёгури — маленькой крестьянской деревушке близ северных окраин Пхеньяна. Хёгури нисколько не походила на центр Сеула, где мама посещала библиотеки и театры, но она умела во всем находить хорошее. В сезоны тунца или китов отец уходил в море на целые месяцы, и такие периоды безотцовщины — самое счастливое время в моем детстве. Мы с мамой каждый день ходили в Святейшее Сердце[7] — сиротский приют и спичечную фабрику на границе Пхе-

[7] Примечания: 7

Святейшее Сердце — особый культ в католической церкви, которому посвящены разные монашеские братства.

ньяна и Пхёнан-Намдо. Святейшее Сердце было одним из первых современных зданий на севере. И в нашем плоском поселении из домиков, крытых соломой, та трехэтажная бетонная крепость внушительно высилась надо всем, угловатая и пепельно-серая. Приют основали канадские миссионеры, и мама промышляла у них мелкой работой или уборкой. Но не деньги были главным: там мы с мамой, вместе с сиротами и рабочими, брали уроки английского. Учил нас пастор Арно Пелтье, канадский миссионер родом из Квебека, бегло говоривший по-французски и по-корейски. Когда я увидела его впервые, у меня на несколько секунд перехватило дыхание: это был первый человек с Запада, кого я встретила, первый, чьи глаза не были темно-карими, а волосы — прямыми и черными. На его голове пылало пламя, сворачиваясь в кудри от алого жара. Пастор называл себя кучеряво-рыжим. Несмотря на такой жуткий внешний вид, я полюбила его почти сразу. Он обожал путешествовать и был ходячей энциклопедией, без конца рассказывал что-нибудь о другой стороне глобуса. Я обожала истории из Ветхого Завета, особенно о Ноевом ковчеге и Самсоне, и почти все от Шекспира — его я считала отменным рассказчиком, умевшим

сдобрить свои драмы смертью, любовью и коварством, как в «Ромео и Джульетте» или «Отелло». Вот так в обществе чужеземца, носившего костер на голове, в той мрачной башне из серого цемента мы с мамой объехали весь мир.

Кое-кто в деревне нас поносил — якобы, изучая чужой язык, мы продаем души заморским дьяволам. Мама говорила мне не обращать внимания. Говорила, люди не понимают важность языков.

— Слова, милая, это не просто слова. Это намного больше, чем способ объясниться. Сами слова могут влиять на то, как ты мыслишь, а с ними ты можешь влиять на то, как мыслят другие. Слова никогда не действуют в одностороннем порядке.

Хотя я плохо понимала, о чем она говорит, все равно горячо кивала, раздуваясь от гордости. Мамы умнее, чем моя, на свете и быть не могло.

— Представь, милая, что это незаметное оружие. Почему, по-твоему, папе так больно, когда ты говоришь слова, которых он не знает? Теперь понимаешь?

Я кивала, хоть меня и задело слово «больно». Какая ирония: отцу больно, хотя это он только и делает, что наказывает маму? Но спорить не хотелось, поэтому я помалкивала. И дальше ходила на уроки английского: не потому, что считала

их важным оружием, а просто потому, что мне нравилось.

Только она одна на всем свете говорила, что есть землю — нормально. Она говорила, у всех свои вкусы, и у кое-кого появляются и необычные.

— Но «необычный» не значит «плохой», дорогая, — добавляла мама, и ее глаза сияли, как два полумесяца.

Я спросила, что еще странного едят люди.

— Пастор Пелтье рассказывал, что во Франции деликатесом считаются улитки! — И мама поморщилась, как ребенок, перед которым ставят тарелку вареной капусты.

— Какая гадость! — прошептала я, прикрывая рот обеими руками и представляя, как эта поблескивающая живая слюна заползает ко мне в живот. Потом захихикала от облегчения, больше не чувствуя себя такой уж странной.

Мама хихикала со мной, потом сказала, что есть землю можно, если это не вредит здоровью, и в конце концов я из этого вырасту — как выросла из детской одежды и капризов.

Но отец был не согласен. У него ко всему был свой подход. И он никогда не нуждался в чужом одобрении.

Ту идею отцу подкинул проклятый портовый грузчик — такой же неотесанный и тупоголовый чернорабочий, как отец. Совершенно мне незнакомый, даже в глаза меня ни разу не видевший.

Отец познакомился с этим дураком, когда его корабль стоял в Пусане, — наверняка они вместе обходили портовые бары и бордели. Оказалось, младшая сестра того грузчика тоже ела землю. Он рассказывал, что начала она с малого в детстве, но со временем уже не могла от этого отказаться и ела горстями каждый день. Дальше — хуже: она стала есть другие странные вещи, например паутину, личинок цикад и даже собственные фекалии, загоняя себя в безумие все больше и больше, после чего потеряла интерес к человеческой одежде и даже к человеческой речи.

Грузчик поведал отцу о средстве, которое сам для своей сестры позволить не смог.

Гут — экзорцизм, обряд, совершаемый шаманом.

Нам с мамой отец ничего не сказал. Мы узнали о его планах, только когда пришел шаман в блестящем шелковом одеянии в ослепительную полоску — красную, желтую и синюю. Отец связал меня заранее, зная, что я могу сбежать в лес, если узнаю, чему меня подвергнут.

Меня швырнули посреди двора, связанную, как курицу перед тем, как бросить в суп, в круг из десятков горожан, чьи глаза поблескивали от возбуждения в предвкушении зрелища. Я увидела среди них отца — с лицом бесстрастным, неживым, как деревянная нога. Он удерживал маму, заломив ей руки за спину, а она корчилась в его хватке и безмолвно плакала.

Безжалостное полуденное солнце пекло голову, я насквозь пропотела. Трое помощников шамана начали читать нараспев, их голоса воспарили, пронзительные и тяжелые, словно причитания на похоронах; оглушительная какофония гонга, барабана и ивовой флейты рвали мои барабанные перепонки.

Когда музыка затихла, в круг вошел шаман с длинным дрожащим мечом в каждой руке: его заклинания — еще истошней, словно рев рыси, — воспарили над завываниями хора. Он на меня шипел. Он на меня плевался. Он проклинал меня самыми злыми словами, и его притворно детский голос сочился ядом. Я дрожала до самых костей, глаза переполнились жгучими слезами.

Потом подошел отец. Его руки широко раскинулись для объятий, но лицо так и осталось холодным. Я увидела, как в его руке блеснул

нож, и он рассек веревки, стягивавшие мои руки и ноги. Стоило мне освободиться, как на меня навалился сокрушительный вес. Я оглянулась и увидела, что это отец прижимает коленями мое туловище и бедра к земле. Он привязал мою правую кисть к правому бедру. Потом вытянул левую над моей головой и положил на землю ладонью к солнцу.

Неспешно подошел шаман. Положил один меч на землю. Вторым размахивал у меня над головой по кругу, словно выписывал в воздухе букву. А лотом кончиком меча вскрыл мне ладонь.

Через марево жары, через вонючий пот и слезы я видела, как из моей порезанной ладони побежала бежевая вязкая жидкость. Ее кислая вонь напоминала рвотную. Я беспомощно наблюдала, как стекают мутные сгустки, пачкая землю, пока все не почернело перед глазами.

Я пришла в себя глухой ночью, в холодной сырости.

Я тут же посмотрела на левую ладонь. Замотанная в слои мешковины, она напоминала самодельную боксерскую перчатку грязно-бордового цвета от липкой крови.

Отец и мама крепко спали. Отец похрапывал, распуская алкогольный перегар. Его рука обвила

мамину шею. Мамино лицо распухло, помеченное высохшими дорожками слез.

Я выскользнула во тьму ночи, задыхаясь, хватая воздух ртом, словно рыба на суше. Бежала, пока не оказалась в березовой роще на южной окраине Хёгури — в укрытии для моих личных мечтаний, где благодаря заскорузлым веткам и пышным мшисто-зеленым листьям почва круглый год оставалась влажной и теплой, гостеприимной для мрачной жизни папоротников, грибов и ядовитых трав. Там, знала я, и найдется лучшая, коричневая, как молочный шоколад, земля — настоящее совершенство.

В сумраке рощи я сделала то, чего еще никогда не делала.

Присела, погрузила пальцы в шелковистую почву и сжала в руке. Сунула в рот все, что уместилось в кулак, — далеко не щепоть — и проглотила, даже не распробовав. Я пихала в рот еще, и еще, и еще — пока сердце не подскочило и не вытолкнуло тяжелый узел.

Когда прошли судороги, я приподняла голову, пытаясь сосредоточиться. Увидела извергнутую обратно землю, поблескивающую от моей желчи, от моей едкой ненависти и презрения к чудовищу, с которым у меня не было ничего общего,

кроме крови, бежавшей в наших венах. Если рассечь его сердце, в нем будет черным-черно.

Через месяц чудовище покинуло дом — пришел сезон охоты на китов, когда отец жил в море месяцами, далеко от нас. Мы с мамой, вынужденные его провожать, долго стояли у выезда из деревни и махали, пока он оглядывался — словно измеряя нашу покорность по тому, сколько мы оставались на месте.

Глядя, как его спина превращается в грязное пятнышко на горизонте, я впервые в жизни молилась. Молилась канадскому Богу, единственному творцу и хранителю мира, которого пастор Пелтье с жаром восхвалял в своих бесконечных историях: «Пожалуйста, пусть он не вернется. Тогда я вечно буду твоей ученицей».

Начало конца положил язык белого Бога.

Какая ирония — всего лишь слово: одно-единственное слово, состоящее из одного-единственного слога, три считаные буквы.

Но все меняло то, что это были английские буквы.

SEX

Селяне нашли это слово на бетонной опоре моста Хёгу. Это был единственный современный

мост в городе — канадцы построили его вместе со спичечной фабрикой; маленький, но им пользовались все, включая крестьян, ходивших с быками к рисовым полям, и детей, спавших под его аркой, прячась от солнцепека.

Первым его увидел маленький мальчик — таинственное слово закопченно-черного цвета, написанное, скорее всего, углем; каждая буква — с него ростом. Потом он показал его друзьям, маме с папой — ему не терпелось узнать, что это значит.

Через несколько дней туда сходила и я. Я узнала форму букв — больших S, E и X — и сказала остальным детям, что это английский, язык белых. Кем бы ни был автор, он постарался, чтобы слово осталось надолго: буквы получились аккуратные, но, если приглядеться, было видно, что их обводили много раз, отчего они казались скорее закрашенными, чем написанными. Я сомневалась, что это дело рук ребенка. Ни одному ребенку в деревне, кроме меня, не хватило бы ума на такую сложную работу, где требовалось знание иностранного языка.

Я сказала, будто никогда не видела этого слова и не знаю, что оно значит. Не думаю, что это ложь, ведь я правда не помнила его из уроков.

Но подсознательно уже разгадала. Чувствовала, что смысл читается по самой уже форме букв: чувственный изгиб S; строгая запрещающая X; E посередине, словно трезубец, готовый пронзить соседа справа. Для подтверждения догадки я обратилась к маме. К моему удивлению, она отказалась это обсуждать. Так мне в конце концов пришлось заглянуть в словарь английского — подарок пастора Пелтье, который мама прятала в коробке со швейными принадлежностями.

Отказ мамы объяснить, что это значит, потряс меня больше, чем само слово: у нее редко бывали от меня секреты. Только задним умом я разгадала ее замысел: так она меня защищала. Слишком хорошо она знала обычаи мира, в котором мы живем. Хёгури — это место, где само знание грешных слов могло стать грехом, если уж говорить на иностранном языке значило продать душу чужеземному дьяволу.

Никто в деревне как будто об этом не говорил. Но слухи распространились, как бесшумный пожар, воспаляя любопытство и подозрения, желание искать виновных. И к концу недели вся деревня, как по волшебству, знала, что значат эти каракули.

Мама была права. У слов есть сила. Даже ма-

гия.

И черная магия одного этого слова захватила всю деревню.

Из-за нее стали исчезать люди: мост, эта мекка всего Хёгури, процветавшая с самого возведения, опустел в одночасье. Селянки, носившие корзины с обедом мужьям на рисовые поля, делали крюк длиной в час. Все матери в деревне запретили детям там играть, а кое-кто даже порол малышей за то, что они смотрели на надпись. Мост как будто прокляли. Будто грязь этого слова чужеземного дьявола изнасиловала, осквернила его. Как будто, лишь коснувшись ее, заразишься моральной лепрой.

Чудовище вернулось в город среди волнений, когда люди метали обвинения, словно невидимые ножи. Мама помалкивала, не желая втягиваться в это безумие. Молчание не помогло, но, если оглянуться назад, станет понятно: не помогло бы ничего. Вот что странно в подозрении. Подозрение — это на самом деле не подозрение: это уверенность в смягченной маске. Дай только срок — и рано или поздно оно перерастет в неоспоримое знание.

И очень быстро в него переросло подозрение отца.

То, что в классе английского учится еще тридцать человек — двадцать две сироты и восемь фабричных рабочих, — почему-то ничего для него не значило. Пусть все эти тридцать человек свободно разгуливали по деревне, не ограниченные правилами навязчивых родителей, — на них подозрение отца не падало никогда. Его горящие глаза с самого начала буравили только нас с мамой.

Я видела, как зеленоглазое чудовище растет, приближается к окончательной форме каждый раз, как он расспрашивал маму. Сначала — обычное детективное прикрытие: «И какой ненормальный мог сделать такое?», «Кто бы это ни был, подлеца надо сжечь заживо», «Если подпустишь нашу девочку к мосту, буду пороть тебя до слез», «Лучше ответь, кто это сделал, женщина, я же знаю, что ты знаешь». К концу недели уже обнажила свои острые зубы уверенность: «Выкладывай правду. Я великодушен я тебя прощу, дорогая, не буду наказывать», «Ну вот как мне заставить тебя говорить, не побив?», «Что хочешь, чтоб я прибил и тебя, и твоего белого дьявола? Этого ты хочешь?».

Потом он нашел словарь.

Правда в том, что сам по себе словарь англий-

ского языка ничего не доказывал. Отец и без того знал, что мы учим английский, что мама работает у пасторов в Святейшем Сердце; что благодаря этому мы платим за кров и еду, ведь того, что он зарабатывал рыбаком, едва хватало на выпивку. Он просто искал любой повод, пусть даже пустячный, — так Отелло хватило только платка жены. Мама упорно отрицала все обвинения, и он вскинулся, потребовал ответа: почему она прятала словарь на дне коробки для швейных принадлежностей, под пряжей и игольницами.

Мама не дрогнула. Тогда отец сорвался.

Он поволок ее за волосы к мосту, размахивая словарем, словно уличный проповедник — Библией, отбрыкиваясь от меня, когда я без толку пыталась укусить его за руку, пнуть по лодыжке, спасти маму.

— Ты что, не видишь? Не узнаешь собственный почерк, мелкая грязная дрянь? — ревело чудовище, колотя ее лбом о бетон.

— Нет, не вижу, пожалуйста, это не я, — умоляла мама.

— Не видишь? Так сейчас увидишь, — ответило чудовище.

Он избивал маму словарем по лицу. Когда обложка стала скользкой от крови, он запустил

книгу в ручей и дальше бил голыми руками.

Остановился он, только когда ни мама, ни я уже не могли издать ни звука.

И я слышала, как он, запыхавшись, прошептал ей на ухо:

— Еще раз мне соврешь — сдам тебя япошкам. И будет твоя дочурка расти без мамы. Задумайся.

В тот день под мостом мама лишилась глаза.

А я — последней надежды на Божью помощь.

С тех пор я знала, что рассчитывать могу только на себя.

Лишь через три дня мама пришла в сознание. И в ту третью ночь я вновь увидела отвратительное зрелище: чудовище спало с мамой, приклеившись к ней, как изголодавшаяся пиявка, крепко обвив рукой ее шею.

Я смотрела на них, погруженных в сон. И меня наизнанку выворачивало от презрения.

На безмятежном лике чудовища была слабая улыбка. «Твоя мама у меня, — будто шептало оно притворным сюсюкающим голоском, источающим яд, как жадный младший братик, которого у меня никогда не было. — Она моя, она принадлежит мне. Тебе никогда не вырвать ее из моей хватки».

И впервые в жизни я испытала презрение к

маме. Ненавидела ее за то, что она не может сбросить руку этого дьявола; ненавидела ее за бессилие.

Тогда, не сходя с места, я поняла, что делать. Что должна сделать, пока чудовище не выдавило из мамы весь сияющий свет, пока чудовище не задушило любовь к ней во мне.

Я снова выбежала в сырую тьму. Бросилась к березовой роще, где чувствовала себя дома больше, чем в родном жилище. Там, среди зелени, где процветали маленькие мрачные жизни мха и грибов, там, где я обязательно нашла бы превосходную землю.

Но в этот раз я искала не землю. А запах.

Запах согретой солнцем помойки — слегка приторный, отвратительный. Запах прогорклого кунжутного масла, ферментированной сои. Я искала «змеиный арахис» — санак. Растение, получившее свое название за уникальный аромат: ядовитую родственницу лечебной травы сахва — «змеиного цветка».

Только люди с обостренным обонянием, как у меня с мамой, могли распознать в ней опасность.

Но сделать дело под силу было только мне — маме помешало бы ее избыточное сострадание.

Выходит, я могла поблагодарить отца хотя бы за то, что я и в самом деле была его дочерью, в наших с ним венах бежала одна кровь. И его кровь помешает избыточному состраданию, которое я унаследовала от мамы, помешает пожалеть дьявола, который жалости не заслуживал, этого дышащего перегаром демона, которого я собиралась изгнать.

Впоследствии я слышала, что у всех убийц — на их собственный взгляд — были уважительные причины для преступлений. Я не исключение: я верила, что мое решение можно оправдать, хоть и не простить. И, по правде говоря, совесть меня особо не мучила.

Но, наверное, разница между мной и убийцей-психопатом в том, что совесть все же мучила меня за то, что меня не мучила совесть. К тому же я не получала никакого удовольствия от процесса. Как я слышала, для психопата главное — процесс, наблюдать, как страдает и умирает жертва.

Как бы его ни презирала, я не хотела видеть, как он умирает. Поэтому с утра пораньше состряпала ему завтрак и повела маму собирать грибы. Вернулись мы во второй половине дня.

И нас встретила не самая приятная картина.

Его губы, покрытые паутиной крови и пены,

ярко розовели. Как и глаза, закатившиеся так, что было видно только белок. Веки отказывались закрывать эти два воспаленных шарика, как я ни старалась. В конце концов я сняла с него теплый жилет и накинула ему на лицо.

Мама не была дурочкой. Сразу поняла, что случилось. Два дня она ходила как в тумане, отказывалась со мной разговаривать. Но я знала, что в конце концов мы помиримся — нужно было время, чтобы свыкнуться с новой реальностью.

Мы не могли устроить похороны, и пришлось сказать соседям, что отец опять уплыл охотиться на китов. На третью ночь, когда деревню окутала полуночная мгла, мы завернули тело в мешок из-под картофеля, оттащили в березовую рощу и зарыли как можно глубже.

По дороге домой, пока мы плелись бок о бок в тишине, я гадала, когда его тело исчезнет без следа. Решила, что в тепле и влажности густой березовой рощи он станет един с землей уже скоро. Между ним и землей был лишь мешок — может, не успеет пройти и полгода.

Я представляла его лицо под землей, его закрытые глаза. Скорее всего, сначала ничего не останется от щек и губ, и тогда земля проникнет в рот, словно он ее ест. Его истлевающие останки,

отваливаясь от костей, смешаются с почвой, испортят мое идеальное лакомство.

А затем перед мысленным взором ожил мой худший кошмар.

Я погрузила пальцы в мягкую землю под березами, зачерпнула горсть, чтобы поднести к губам. Но, подняв руки, увидела, что по пальцам бежит черная кровь отца.

И вот тогда, в тот момент, когда передо мной предстал цвет моего греха, я перестала есть землю.

Третья жизнь

Дом вверх дном
(*1950*)

Мы редко спали, имея крышу над головой, чаще ночлегом были заброшенные дома, разрушенные пожаром. Над нашими хмурыми лицами, погруженными в сон, дрожал звездный свет. Мы высыпались вопреки ночному холоду, который лился в провалившийся потолок. Питались чем могли. Выживали.

«Мы» во время Корейской войны было неуловимым понятием. Это могли быть и южане, и северяне, и коммунисты, и капиталисты — неважно. Каждую ночь я пыталась образовать «мы» с незнакомцем, с другим человеческим телом в бледной тьме рядом с моим, чтобы согреться и защититься от одиночества. Сначала я сворачивалась клубком, мягко прижимаясь к спине соседа руками и ногами, и, если он не отдергивался, придвигалась к теплой спине животом, медленно обхватывала обеими руками за плечи. Большинство, к моему удивлению, не возражали. На следующее утро мы могли насмерть драться за корешок ширококолокольчика, но в

бездомной ночи были лишь теплыми телами, которым не хватало человеческого тепла. Иногда, когда сосед засыпал мертвым сном, я запускала пальцы в карманы и вытягивала все ценности: сласти, серебряные монеты, пузырек змеиного масла от брюшного тифа.

Помню, что обсуждала эту войну еще до того, как она началась. Тогда я была юной и наивной. Училась английскому у пастора Пелтье, канадского миссионера, который управлял сиротским приютом и спичечной фабрикой в моем родном северокорейском поселении. Вкратце познакомив нас с историей Америки, он рассказал и о странной войне, в которой брат шел на брата. Война не всегда бывает между разными странами, подчеркивал мсье Пелтье, и его молочная кожа розовела, как зад поросенка. Люди с Запада называют такие войны гражданскими, говорил он, и мой подростковый разум тайком посмеивался над глупостью белых, над нелепой иронией подобного названия для братоубийства — «гражданская война», над тем, что она на самом деле

еще страшнее, чем обычная[8].

Сначала война казалась просто помехой. Когда я вернулась на родину после многих лет отсутствия, товарищи с красными нарукавниками уже проникли в повседневную жизнь селян, принуждали к обязательным собраниям и еженедельным митингам, часто заставляли стоять в карауле даже замужних женщин. И тогда местные начали исчезать. Некоторых северных мечтателей влекли слухи о теплом юге, где не было партизанских обязанностей, например мою мать с сестрой, которые, по словам соседей, уехали на юг давным-давно.

Люди испарялись все чаще. В соседнем селении пропала целая семья разом — люди шептались, что из-за шальной ракеты. После нескольких месяцев постоянных фейерверков над головой местные наконец увидели первых янки — и тогда началось то, что они назвали распиливанием. Поселение разделилось надвое, словно нищая наложница у двух хозяев, которая мечется и не знает, за кого держаться ради выживания. Днем

---

[8] Примечания: 8

Свои гражданские войны были и в Корее, например Чосонская война (1637–1641), а также восстание Тонхак (1893–1895), которое вынудило правительство обратиться к зарубежным силам. Так началась Первая японо-китайская война, а после победы в ней Японии — и оккупация Кореи.

по деревне рыскали на военном грузовике янки и солдаты с юга, раздавали провизию и расспрашивали, а когда темнело, выходили истощенные партизаны, прятавшиеся в горах, и бродили вокруг деревни, словно голодные духи, собирая еду и сведения. Семейная распря, мелкая соседская ссора перерастала при странных обстоятельствах в кровавую катастрофу. При свете дня селянин обвинял соседа в том, что тот поддерживает коммунистов; при свете луны сын жертвы доносил, что сосед — приспешник янки. Подозреваемые коммунисты уезжали на военном грузовике и больше не возвращались, а многих предполагаемых любителей янки казнили на месте. Шли поиски предателей, кривой серп войны каждый день непредсказуемо проносился из стороны в сторону, выкашивая селян.

Я отказалась быть беспомощной жертвой. Я направилась на юг — в моих мыслях еще жила детская мечта о воссоединении с матерью и сестрой.

Днем я шла и собирала подножный корм, с каждым днем расширяя рамки понятия съестного: от ячменки до диких яблок, от вареной крапивы до древесной коры. Ночами я крала тепло у незнакомцев под пепельно-серым лунным светом,

сочащимся в сожженный дом.

Но в ту ночь, когда я решила стать мальчиком, я ночевала не в жилом доме. Раньше это была школа. До сих пор — мой самый просторный ночлег. Когда-то это было современное школьное здание, построенное японской армией во время Второй мировой войны, потом его переделали в казармы янки, а теперь, посреди Корейской войны, оно превратилось во временный лагерь беженцев. Я лежала в классе, глядя на залатанную крышу, на пробитую снарядом дыру, прикрытую листами гофрированной жести. Но за жестяной кровлей я все равно чуяла бледную луну. Окна с выбитыми стеклами впускали ее ледяное дыхание, отчего я вновь изнывала по человеческому теплу.

И я нашла идеальную спину. Это была женщина — не молодая и не старая. У нее были округлые мягкие плечи. Каждый раз, как она ворочалась, колыхались ее бедра. Я дождалась, когда она успокоится. Издала у нее над ухом тихий высокий вздох, чтобы даже во сне обезоружить своим нежным женским дыханием. Уже собиралась как можно осторожнее прижаться к ней, сложив руки как богомол. Но в окно проникли ночные хищники. Они перешептывались, их дыхание шелестело. Я узнала шепот; я знала их язык. Это

были янки, двое. Один белый, второй черный. Они сунули ей в рот скомканную тряпку. Когда ее забирали, она яростно трепыхалась, брыкалась что было сил, пока ее не утихомирили пощечиной. Через школьное окно без стекол проникли натужные звуки тихого изнасилования.

На следующее утро я рыскала по улицам в поисках тела мертвого парня. И нашла с легкостью — причем примерно моего роста. Я раздела его — длинные кальсоны, толстый жилет, штаны из мешковины. Цвета ржавчины; запаха дохлого ската. Перед тем как переодеться, туго замотала грудь хлопковым шарфом. Хорошо хоть я уже была коротко стриженная.

Я была высоковата для женщины, низковата для мужчины. Самое оно для юнца.

«Все равно я только наполовину женщина», — подумала с ухмылкой я, лишенная матки.

Перед тем как побить меня или маму, отец приговаривал, что женщины в каком-то смысле все равно что мальчишки: вечно незрелые, никогда не учатся и не растут, поэтому их нужно постоянно лупить. Будь он жив, я бы ему шепнула, что мальчишек никогда не призывают в армию — только мужчин; а их отверстия не трогают, в отличие от девичьих.

Бывало и хуже, говорила я себе. Справлюсь и с этим.

В пути с Севера на Юг я не видела ни одного не тронутого огнем, не обезображенного дома.

Небо отяжелело от шума — в нем поселились истребители-бомбардировщики: вольготно рассекая воздух, они тихо рокотали; на расстоянии, над заросшими холмами, они мурчали, как кошки, или рычали, как псы; а потом, когда не ждешь, пердели громом, издеваясь над барабанными перепонками, и обрушивали пламя на все соломенные крыши вокруг.

Спустя несколько дней я приучилась справлять нужду в кустах, не ведя и бровью, даже когда над головой завывала целая стая самолетов с их огненным пометом. Бомбежки были такими вездесущими, что в конце концов стало казаться чудом, что я еще жива[9].

Поэтому мое сердце екнуло от изумления, когда

---

[9] Примечания: 9

Бомбежка Кореи была первой крупной кампанией ВВС США после Второй мировой войны, уничтожившей больше 85 процентов населенных пунктов Северной Кореи. В 1950–1953 годах было сброшено 635 тысяч тонн бомб и более 30 тысяч тонн напалма — в сравнении с 500 тысячами тонн, сброшенными во всем Тихоокеанском театре военных действий (1941–1945), включая и атомные. Разумеется, этот рекорд был с отрывом превышен в годы Вьетнамской войны, когда США сбросили на Вьетнам, Камбоджу и Лаос больше бомб и напалма, чем все участники Второй мировой, вместе взятые.

я впервые увидела поезд через границу. Меня потрясло, что из адского пламени невредимыми вышло так много людей — поезд был битком набит беженцами, их тела кишели снаружи, словно ракушки, облепившие затонувший корабль.

Я была среди сотен, что ехали на крышах товарных вагонов. С наступлением ночного холода ветер резал лицо сильнее. Но здесь красть тепло у других тел было невозможно. Приходилось выжимать все свои силы до капли, чтобы удержаться за конек стальной крыши. Не справишься — проиграешь. Я уже видела, как несколько маленьких тел пропали, остались где-то позади неустанного рокота ночного поезда. Свободные пятачки, которые они только что занимали, заполняло причитание матери.

Для меня Юг был краем незаконченных домов.

Для многих военных сирот конечной остановкой стал Пусан. Из-за далекого расположения на юге коммунисты не успели его захватить, поэтому только этот регион избежал бомбардировок. Пусанские дома, словно новоприбывший строй корейских беженцев, сбежавших от коммунистического режима, выжили: их стен и крыш

никогда не касалось пламя[10].

Но домов все-таки не хватало для прибывающего потока людей. Скалистые холмы квартала Ами быстро превратились в трущобы. Каждую неделю там росли новые ряды дощатых лачуг, как грибы после ливня. Опоздавшие, не успев занять место на холмах, стягивались на кладбище. Это общественное кладбище для японцев появилось во время оккупации, а теперь оно скрылось под пондоками корейских беженцев: крыши пондоков — из ржавых листов жести, стены — из глины и брошенных ящиков. Оккупированные теперь сами оккупировали место упокоения своих мертвых оккупантов, превратив последний приют мертвых в приют живых, надгробия — в краеугольные камни домов, чем принесли кладбищу новое прозвище: Бисок Маыль — деревня

[10] Примечания: 10

Корейская война началась в 1950-м, когда коммунистическая Северная Корея, наблюдая за кровавыми чистками коммунистов в Южной (на одном только острове Чеджу в 1948-м было убито 10 процентов населения — до 30 тысяч человек), решила нанести превентивный удар и, сокрушив южнокорейскую армию, дошла почти до конца полуострова. Тогда в войну вступили США под эгидой ООН (из состава ООН исключили КНР после прихода там к власти коммунистов, а СССР из-за этого объявил бойкот, поэтому в организации не осталось никого, кто мог бы официально выступить против). Войска ООН удержали плацдарм на юге полуострова и нанесли удар с моря в тыл, отбросив северо-корейцев обратно за 38-ю параллель, поэтому южные города вроде Пусана не пострадали.

Надгробий.

Вокруг расцветали рынки — голодные беженцы собирались на улицах, чтобы продавать и покупать, менять и выклянчивать все, что только попадет им в руки. Самым популярным стал рынок Кан. Там беженцы выменивали консервы от янки: американские военные сухпайки стали одним из главных источников пищи. Деликатесом считалось мясо со спагетти в томатном соусе, не теряли популярность и сосиски с фасолью. Никогда не падал спрос на сладкую жвачку и сигареты «Лаки Страйк», а отдельные чудаки искали ворованные жетоны погибших солдат — на сувениры или открывашки для банок.

Теперь наложница не сомневалась, к кому обратиться за выживанием: как минимум ниже пояса, под 38-й параллелью, вся жизнь вращалась вокруг янки[11]. Мне было плевать, кому прислу-

[11] Примечания: 11

Разделение Северной и Южной Кореи по 38-й параллели было введено уже в августе 1945 года между советской и американской оккупационными зонами (как было в Германии и Австрии или в Японии с американской и британской зонами). Параллель выбрала американская сторона в самые последние дни войны, готовясь к холодной войне с коммунистическим блоком. К этой идее пришли Дин Раск (будущий госсекретарь США) и Чарльз Боунстил: они стремились получить в свою зону столицу Кореи, Сеул, но не видели севернее его никаких природных демаркаций вроде рек или гор. И тогда они произвольно выбрали 38-ю параллель, вдоль которой в дальнейшем после Корейской войны и была введена демилитаризированная зона.

живать, капиталистам или коммунистам, лишь бы кормили горячим и не били: на первом месте для меня было выживание.

Однажды я подошла к ним. Я верила, что меня защитит наряд мальчишки. Я спросила просто, на английском, почти без акцента:

— У вас есть работа?

Я застала их врасплох, эту кучку джи-аев[12], стоявших на перекуре у входа на рынок Кан. Лишившись дара речи, они вытаращились на меня, двое даже разинули рты, откуда клубился дым.

— Иди-ка отсюда, пацан, — ответил на корейском один из них, кореец, отмахнувшись, как от комара.

— Я хорошо говорю по-английски, — продолжила я медленно. — Сэр, мне нужна работа.

Я уже даже не боялась побоев: у меня во рту не было ни крошки четыре дня подряд.

— Где выучился английскому, пацан? — наконец спросили они, обменявшись удивленными взглядами и смехом.

Один белый, с сигаретой, свисавшей из уголка губ, поманил к себе корейца и что-то неразборчиво пробормотал ему на ухо.

---

[12] Примечания: 12

Джи-ай — прозвище солдат армии США (от government issue — «казенный». Изначально относилось к снаряжению).

Я последовала за этим корейцем с тонкими губами и совиными глазами. Он бросил с кривой ухмылкой, что работа найдется, хоть я слишком мелкий и щуплый, чтобы быть солдатом. Но с моим английским я могу быть переводчиком. Он пообещал, что у меня будет еда и крыша над головой. Мой урчащий живот согласился раньше рта.

— Ты сирота, да? Как звать, пацан? — спросил он.

— Ён Маль, — ответила я. Это было не мое имя — но и не того мальчишки.

Меня посадили в военный грузовик.

— Куда мы едем? — спросила я.

Не взглянув на меня, кореец сказал водителю:

— В Дом.

— Куда мы едем? — спросила я водителя, глядя ему в глаза, отражавшиеся в зеркале заднего вида.

Вместо ответа водитель слабо улыбнулся и издал странные звуки — обрывистые выдохи, похожие на пыхтение мелкого зверька. Сделал вид, что чешет щеку.

Тот Дом был не дом. Раньше он был школой.

Здание стояло невредимым. Ни единого старого шрама от снарядов на крыше. Нигде не выбиты

стекла.

Те стекла были толщиной с большой палец и забраны железными прутьями, солидными, как мужское запястье. Бетонные стены исполосованы, будто форма заключенного, дорожками от слез ржавчины, сбегавших от решеток.

Очередное современное школьное здание — построено японцами, переделано Корейской войной.

Вкратце его называли Домом, а полностью — Обезьяньим домом. Жители соседней деревни иногда называли его Грузовиком, потому что здание, угловатое, сизого цвета, смахивало на гигантский военный грузовик.

В окнах второго этажа я увидела женские лица. Они вцепились в сетку, приваренную за стеклами: глаза полны безмолвного стона, пальцы сжаты добела.

Как обезьяны, забравшиеся на решетку.

Их головы покачивались, плечи подрагивали.

— Знаю, видок так себе, — шепнул мне кореец, — но ты привыкнешь.

Он сказал, что это больные женщины, что там, на втором этаже Дома, их лечат. А мне предстояло помогать, переводить, что у них за болячки, объяснял он. Моя задача была проста: переводить

с корейского на английский или с английского на корейский для девушек, двух врачей и приходящих солдат янки.

На самом деле он мог вовсе ничего не рассказывать о Доме. Я все и так поняла, как только встретилась с ними взглядами. Я знала, какую боль они испытывают, знала, что это за судороги, подергивания, крики и пот, — знала, что это от избытка пенициллина в организме. Знала от начала до конца весь список их болезней. Знала, что это за Дом, для чего он на самом деле.

У меня по шее и спине пробежали мурашки, остановились где-то у талии и надолго там задержались. Я положила руки на живот, где когда-то была утроба.

Я чувствовала себя выжженной изнутри.

Дом, как и все мое существование, основывался на иронии.

В отличие от современного цементно-серого фасада внутри почти все — полы, балки и колонны — было из дерева теплых оттенков. Паркет из кедра источал приятный пряный аромат, несмотря на то что в четырех углах появились пятна крови медного цвета. Женщины рассказывали, что изначально здание строилось не для школы. Японский префект планировал поселить здесь

свою любовницу, шептались они. Он хотел возвести роскошную деревянную виллу для своей наложницы смешанных кровей, но погиб в самом начале Тихоокеанской войны (мне это название казалось таким же парадоксальным, как «гражданская»), и дача так и осталась недостроенной. Намного позже ее спешно переделали в школу, где мечтали лепить из сопливой корейской ребятни верных защитников Японской империи.

А теперь — Дом. Приют для двенадцати бродяжек — хоть их число постоянно менялось. По словам нашего соволикого корейского начальника, их настоящие дома были либо разрушены во время войны, либо женщин там уже не примут из-за их двуличия.

— Звали себя южанками, говорили, что любят свободу, — объяснял он, — а сами тайком бесплатно получали мешками рис от коммунистов. Теперь здесь, в Доме, им дали второй шанс послужить своей настоящей родине — послужить солдатам главного союзника их родины, американским войскам, героям, которые пришли спасти нас из пасти коммунистов.

Начальник подчеркивал, что их здоровье — прежде всего, потому что могло прямо повлиять

на гостящих янки[13].

— Вот почему у нас есть второй этаж, где мы стараемся пресекать на корню все признаки болезни.

Из-за второго этажа это здание и получило свое прозвище — и там же я впервые увидела Дженни. На самом деле ее имя было Чже Сун, но все солдаты звали ее Дженни. Со временем это переняли и мы. Я при первой же встрече увидела ее голой: голубиная грудь, по-голубиному подвернутые ступни — она смахивала на высокую птицу. В отличие от других женщин, Дженни никогда не опускала взгляд. Во время медосмотра ее глаза без стыда следили за моими и за глазами доктора-янки, будто пытаясь расшифровать в наших действиях какой-то тайный код. Я не

---

[13] Примечания: 13

История женщин для утешения, используемых американскими войсками, началась сразу в 1945 году, когда военные США освободили японские станции утешения, но при этом оставили их себе с той же функцией. Несмотря на то, что проституция незаконна как в Корее, так и у американских войск, и несмотря на все дополнительные усилия ее отменить, она до сих пор существует на полулегальном положении рядом с американскими базами, в так называемых военных поселениях (киджичонах).

На протяжении 50–70-х поставкой проституток для армии США занималось само правительство; женщины как приходили туда от бедности сами, так и похищались. На 1969 год Южная Корея зарабатывала на торговле с армией США (в том числе секс-услугами) около 160 млн долларов (общий экспорт страны на тот момент составлял 835 млн долларов). Разоренной послевоенной Южной Корее это было важно и

для того, чтобы сохранить у себя американское присутствие (Южная Корея была намного слабее Северной), и потому, что секс-работницы приносили в экономику валюту; их даже призывали гордиться своей работой на благо родины, но в целом к ним относились с презрением (в том числе и сами власти), их существование табуировалось, дети смешанных кровей подвергались остракизму, отчего секс-работницам часто приходилось идти на аборты (если американский солдат не соглашался выкупить их, чтобы забрать в США и жениться). И все это притом, что женщины для утешения, пострадавшие от Японии, в конце концов (хотя тоже после периода замалчивания) стали символом борьбы с оккупантом.

В тот период проституция для армии США находилась на таком официальном уровне, что для работниц даже проводились уроки английского и этикета, а также медосмотры два раза в неделю (хотя лечение было примитивным и часто заключалось в обкалывании пенициллином, что приводило к смерти), а от армии США им выдавались особые документы и жетоны с номерами. Хоронили секс-работниц в общих могилах. Все это во многом было возможно благо даря тому, что в то время в Южной Корее сменился ряд диктаторов (первые демократические выборы Кореи состоялись только в 1987-м). Позже правительство было вынуждено уйти в этом бизнесе в тень и проституция перешла в частный бизнес; затем в начале нулевых благодаря росту экономики стало меньше южнокорейских проституток — их место во многом занимали секс-работницы (и рабыни) из России и затем по большей части с Филиппин.

В 2023 году около сотни бывших южнокорейских секс-работниц подали в суд на правительство и в итоге получили официальные извинения и символическую компенсацию в размере от двух до пяти тысяч долларов. Только в сентябре 2025 года из-за множества бюрократических сложностей они подали в суд на США с тем же требованием официальных извинений и компенсации в размере около семи тысяч долларов.

находила себе места. Казалось, будто она видит меня насквозь, чует плутовку за моим мужским обличьем. Мысленно я пометила ее для себя Ястребиным Глазом. В медкарте я пометила ее как «здорова».

Только одна Дженни пыталась сбежать из Дома, но безуспешно. Однажды ночью меня разбудил сторож и велел бить тревогу. Он взбежал на второй этаж, я — за ним. Из зарешеченного окна я увидела Дженни. Она каким-то образом выбралась на задний двор и теперь босая бежала в лес. Ее широкими шагами неторопливо преследовал солдат, водитель грузовика.

— Беги, крошка, беги! — крикнул он со смехом, одной рукой подтягивая штаны с наполовину расстегнутой ширинкой.

Скоро они пропали во тьме леса, почти одновременно. А когда вернулись, Дженни сразу послали наверх. Там она провела следующие три дня, в темном углу Обезьяньей комнаты, и вены ее бедер набухли черным от коктейля насильственных уколов, а ее крики заполняли Дом, как бесконечный вой банши.

Дженни напомнила одну мою старую подругу. За это я ею восхищалась и жалела ее. Мне нравились ее смелость, ее упрямство. И все-таки я

задавалась вопросом, можно ли на самом деле сбежать из Дома.

Ведь я думала, что уже когда-то сбежала сама.

Раньше Дома была станция — место, высосавшее мою юность досуха.

Свалка, или мясницкая, где память живет лишь дрожью и урывками.

Станция — это вкратце; полностью — станция утешения.

Мы на горьком опыте узнали, что они подразумевают под «утешением». Мы — голодные корейские девочки-подростки, уехавшие из родной страны в Японию. Нам обещали фабрику. Но оказалось что эта фабрика не для вещей, а для мужчин, японских солдат, в джунглях Семаранга, в джунглях комаров, крови и ржавого пота.

Солдаты, день за днем. Трезвые и пьяные. Иногда без глаза, без кончика пальца. Жирные руки. Пот. Сперма, соленая, как рыба, стекающая. Сначала были крики. Потом — молчание смирения. В наших венах текли опиум, пенициллин, ртуть. Нас избивали, потом пели нам колыбельную. Девушки умирали. Одна за другой. От малярии. Или от порки, или от удушения. И от всех зараз, что окрашивают между ног в черный, в лиловый цвет. От кражи утроб, без полной анестезии, ко-

гда с приоткрытыми глазами наблюдаешь, как из твоего тела вытаскивают теплый тугой комок, маленький сжатый кулачок, омытый кровью.

Самоубийство было для нас запретной мечтой.

На станции утешения я и познакомилась с Ён Маль, хозяйкой моего псевдонима — странного имени, составленного из иероглифов «дракон» и «лошадь»: их редко используют для имен девочек. Ён Маль была острячкой, шутницей. Рассказчицей, не дававшей нам заснуть. Ее так и не смогли заткнуть, даже когда оставили без двух передних зубов. Когда гас свет, она шептала, выдыхала истории нам в затылки. Текли слова: имя ее матери, вздохи ее папы, год, когда родился ее первый пони, день ее первых месячных, первого глотка вина, байки о скачках и щенячьей любви, вся нежность и глупость ее детства, истории о доме. Мы влюбились в ее щербатую улыбку, в ее смешки. Каждую ночь от ее историй весь дом был вверх дном.

Там в нас угасала мысль о родине, но Ён Маль ее раздувала. Она погибла на станции, но хотела, чтобы выжила я. Хотела, чтобы я сбежала из того проклятого места и вернулась домой. В чем-то ей повезло, думала я, ведь она так и не узнает: того, что она называла домом, больше нет — он со-

жран очередной войной; она не узнает, что меня швырнули обратно в те же стены, причем те же руки, которые меня спасли, — руки союзников, американских солдат, с размахом завершивших Тихоокеанскую войну.

Со временем стало ясно, почему эту работу — неофициального управляющего Домом и переводчика — доверили мне. В их глазах я была мальчишкой, не мужчиной, а значит, не стала бы лапать их мясо, их военный рацион, припасенный специально для янки. Они следили, чтобы мясо не испортилось, чтобы военные организмы оставались в здоровом и рабочем состоянии. Наверняка думали, что Дом вместе с его секретом в безопасности. Они и не подозревали, что сами впустили жучка — вредного, с мелкими острыми зубами, понемногу подтачивавшего Дом со всех четырех углов.

Когда Дженни на три дня заперли в Обезьяньей комнате, мне поручили за ней приглядывать, чтобы не сбежала опять и не погибла. В основном она была не в себе, могла только стонать или кричать. Но в редкие просветления, когда показывалась она настоящая, мы беседовали. Она меня и притягивала, и пугала: я знала, к чему приведет ее дерзость. Уже насмотрелась — и не

могла позволить себе очередную утрату. И все-таки мы беседовали. И я тайком проносила еду и воду. В основном я слушала, она — говорила. Мне тоже было чем поделиться, но я старалась помалкивать — знала, что так лучше для нас обеих. Дженни, как и Ён Маль, много говорила о доме. Еще рассказала, как попала в Дом: по ее словам, всего за два мешка ячменя.

— Мои младшие сестры голодали много дней, и я была только рада взять еду и внести свое имя в список. Откуда мне было знать, что такое Намродан[14]? — стенала она. — Мне, девочке, которая еще и к школьным воротам не подходила?

Со временем я влилась в распорядок Дома, а Дженни помогла мне освоиться. К нам приходили два врача — кореец и американец. Кореец приходил чаще, всегда с медсестрой и ящиком, полным шприцев и ампул. Белый — только раз в несколько недель. Он никогда не лечил сам, скорее осматривал, читал медкарты, отмечал прогресс или ухудшение. И раз в месяц, прямо как

---

[14] Примечания: 14

Намродан — коммунистическая Трудовая партия Южной Кореи, существовавшая в 1946–1949-х. После этого она слилась с Трудовой партией Северной Кореи; во время войны ее членов массово и без разбора казнили в Южной Корее в эпизоде, известном как массовое убийство членов Лиги Бодо (погибло от 60 тысяч до 200 тысяч человек). После войны многих уцелевших членов партии на Севере подвергли чисткам, официально — из-за подозрений в шпионаже.

на станции, женщин сажали в кузов грузовика и везли в большой военный госпиталь в городе, где проводился более тщательный осмотр.

Я знала, где держат медикаменты. В шкафу в импровизированной кладовой на втором этаже, у входа в Обезьянью комнату, куда меня не пускали. Ключи всегда носил при себе рыщущий по ночам корейский сторож. Думаю, он никогда не доверял мне до конца — ни с девушками, ни с ценностями. Меня это не остановило: я прирожденная карманница, без стыда переживавшая войну благодаря кражам. Я крала не только тепло других тел, но и их ценности. Их еду, деньги, лекарства — день за днем.

И отраву не назвать мне чужой — совсем наоборот. Она почти как знакомое лицо в толпе, встречающее скрытной улыбкой. Или как маленькая караульная, берегущая мой карман, полный мрачных тайн. «Мы с тобой уже победили двоих мужчин», — нашептывала она на ухо. Да, это была «она», а не «он», ведь отрава — это, как говорится, женский путь: подлый, коварный, а значит, не мужской. Для меня, беспомощной, лишенной выбора и достоинства, это был единственный мыслимый метод. Когда руки, что должны защитить, выдавливают из тебя жизнь,

совесть промолчит, если воспользуешься своими последними зубами. Боже мой, отрава — истинная демократия: ей все равно, кто ты, богатый или бедный, коммунист или капиталист, мужчина или женщина, — она забирает всех.

Несмотря на искушение, я не раскрыла свою личность Дженни и другим пленницам Дома. Как бы ни хотелось их спасти, я избегала привязанности. Не болтала с ними по пустякам. Отворачивалась от их умоляющих глаз или не обращала на них внимания. Я знала, что эти лица еще долго будут приходить во сне даже после того, как развеется гарь от пожара бомбежки. Я старалась не запоминать имен — знакомые двойные слоги, которые, если не уследить, будут сами слетать с языка. Ни одного имени, кроме, конечно, Дженни.

Казалось, Дженни, как и Ён Маль, вошла в мою жизнь благодаря каким-то силам вне моего контроля. Хотелось, чтобы ее ястребиные глаза — пугающие, но в то же время волнующие — всегда оставались и коварными, и полными света. Хотелось навсегда запомнить ее такой. И когда настал день — утро ежемесячного осмотра в городе; утро, когда я связала запястья всех женщин обманчивым узлом, что легко распустится, если несильно

потянуть, утро, когда я сунула револьвер начальника в трусики Дженни — револьвер без одной пули, которая теперь засела между глаз спящего охранника, револьвер, поучала я, который надо выхватить, только когда грузовик замедлится на крутом серпантине в горах, и выстрелить в затылок водителю, как только Дженни и другие женщины высвободят руки из веревок; утро, когда я скормила водителю полуправду о том, будто начальник снова дрыхнет мертвецким сном; главное утро их, если повезет, единственной попытки побега, — я сделала с Дженни то, чего на самом деле не планировала: обняла. Притянула к себе и крепко сжала, украв капельку ее тепла, но и отдав немного своего, и теперь у меня была ее частичка, а у нее — моя. Я чувствовала, как нежно мурчит в моих объятиях ее острая грудная клетка. Мы не двигались. Пусть всего на миг, но горести мира не могли коснуться нас.

Самая главная трудность состояла в самом Доме. Даже без начальника, водителя и охранника Дом никуда не денется, а значит, и мы не сбежим от него, даже покинув его стены. Поэтому я тайком сливала топливо. Что угодно, что обожало огонь: бензин для грузовика, керосин для плиты, растирочный спирт из белого ящика доктора,

даже вонючий алкоголь, который начальник прятал за кухонным шкафом. Взамен я подлила в бутылку мутную ядовитую жидкость, наполнила шприц морфином. Я чувствовала ироничную благодарность к врачам, к начальнику; как и многие рабы, я научилась носить личину недоумка, но при этом держать ушки на макушке, собирая знания хозяина по крошке. Как странно было в конце видеть безмятежное лицо начальника, поддавшегося вечному сну, такое непохожее на его обычное нервное выражение: вечно рыщущие большие глаза, готовность накинуться на убегающую мышь. Я подарила ему покой, который он так искал, но не мог обрести сам.

Я как свои пять пальцев знала кровавые нежные кишки Дома под его толстой шкурой. Железно-серый фасад — это только поверхность, прячущая благоухающий деревянный каркас.

Если мы не можем выйти из Дома, размышляла я, может, заставить его уйти в себя?

И я тайком вводила украденную жидкость в его скелет, пронизывала каждую колонну, балку, каждый угол паркетных полов пронзительным запахом горючего — сладким и зловещим ароматом, от которого внутри Дома моя голова парила, будто у меня не было тела, и странная ухмылка

кривила мои губы.

Можно было бы сбежать сразу. Но я медленно поднялась на гору позади Дома и скрылась в чаще. Там я провела в укрытии все утро, наблюдая.

Я видела биение крыл жар-птиц в зарешеченных окнах, видела, как они разогревались перед полетом. «Гори, детка, гори», — беззвучно двигались мои губы.

Какая красота. Какое наслаждение. Сжигать, видеть, как все тлеет, пропадает в пляске янтарных языков пламени, распаляющих друг друга все больше, видеть каждый их каприз. Все произошло куда быстрее, чем я представляла: сотни жгучих языков тянулись за решетки, облизывая, лаская стену, окрашивая темно-серый в пылающе-черный. Скоро, когда ветер сменил направление, дом испустил последнее дыхание, вскинув в мою сторону мерцающих светлячков, прекрасные остатки пламени, что щекотали мое лицо, оставляли пятнышки тьмы, которые я, скорее всего, никогда не смогу смыть. Нет, я буду носить их с гордостью. И вот поддались балки — с грохотом, с ревущими овациями. Я в последний раз приложила указательный палец под нос, вдыхая несмываемый запах керосина. Упиваясь его хмелем без остатка. Потом взглянула напо-

следок на осыпающиеся пасти, которые раньше были стальными окнами. Они-то, наверное, думали, что железные прутья навсегда скроют их грязные секреты. Они не знали, что впустили не того жучка — светлячка, коварную плутовку, что принесет им свет и перевернет весь их чертов Дом вверх дном.

Вторая жизнь

Рассказчики
(*1942*)

Все-таки они были прекрасными рассказчиками. Заманили нас множеством историй.

Например, Су Ри пообещали выпустить ее отца: сказали, чтобы освободить его, арестованного за уклонение от налогов, которого он не совершал, ей надо всего лишь отработать два года в японской мастерской по пошиву сэннинбари[15]. На Ми поманили образованием: лучшая в классе, но бедная как мышь, она решила, что такой шанс выпадает в жизни только раз, когда ей предложили оплатить учебу в старшей школе и колледже в обмен на два года труда на обувной фабрике. Чжа Ён поймали на карамель: она родилась невезучей четвертой дочерью в семье без сыновей и даже не задумалась, когда ее позвали на конфетную фабрику в Осаке: за ежедневный труд ей обещали отплатить не строгостью из-за ее пола, а кругленьким окладом и большим мешком карамели

[15] Примечания: 15

Сэннинбари, или пояс тысячи стежков, — традиционный оберег японских солдат. Традиция зародилась в ходе Первой японо-китайской войны, во время Второй мировой женщины массово шили их и высылали на фронт.

в придачу.

Мне обещали глаз.

Меня умаслили, заставив поверить, будто могут вернуть матери правый глаз. В лучшей современной больнице Токио и не такие чудеса творят, сказал офицер Киносита: милостивая империя исправит то, что натворил твой чосонский отец. Не скажу, что у меня не было подозрений, но мне отчаянно хотелось верить. После того как мой жестокий отец, оставив маму полуслепой из-за побоев, скончался от неожиданного пищевого отравления, ее здоровье резко пошло на спад. Из-за плохого зрения и головокружения она не могла работать на спичечной фабрике. Хуже того, через три месяца после кончины мужа мама обнаружила его прощальный подарок: растущее в ее животе семя. И пока дети моего возраста из богатых семей поступали в среднюю школу, мне приходилось заботиться о новорожденной сестре и подслеповатой матери. Но моего нескончаемого труда едва ли хватало, чтобы прокормиться. Поэтому, когда офицер Киносита явился с предложением — достойная зарплата и операция на глазу для моей матери в обмен на два года работы на текстильной фабрике в Нагое, — я согласилась, думая, что хуже все равно быть не может.

А иногда им надоедало выдумывать небылицы, и они даже не старались. Хватали девчонок прямо на улице, сажали в военные грузовики и увозили прочь. Так на станцию попали Ми Чжа и Ён Маль. Они пришли среди бела дня на рынок, стояли перед торговцем сладостями, смотрели, как он нарезает тыквенную тянучку на аккуратные золотистые кубики. Ми Чжа уже отсчитывала монеты и тут почувствовала, как чьи-то руки оплетают ее за талию и хватают за косу. Она слишком испугалась, чтобы закричать. Но слышала, как изо всех сил сопротивляется Ён Маль, пинает солдата по ногам, кусает за руку. И все-таки в результате и она, как Ми Джа, оказалась в кузове грузовика, выплевывая окровавленный зуб после пинка солдатским сапогом. Ми Джа и Ён Маль говорили, что завидуют остальным из нас: мы хотя бы успели попрощаться с семьями. Они говорили, как им тяжело, — родители наверняка решили, что девочки сбежали из дома. Но я особой разницы не видела. Возможно, их родителям было даже легче жить с мыслью, что их дочери сбежали, чем знать правду — знать, через что нас заставили пройти на станции.

Своими историями они меняли всё.

Сначала нам изменили имена. Чжа Ён стала

Савако, что значит «сладкая девочка». Дзёба-сан объявил, что имя прекрасно ей подходит из-за ее любви к карамели и шоколаду. Ми Чжа, самая младшая и маленькая на станции, превратилась в Акико, что значит «маленькая девочка». Ён Маль выбрал себе офицер Канеда, выставив ее перед солдатами.

— Зовите ее Анзу, — приказал он с ухмылкой Дзёба-сан, — потому что ее зад на вкус как спелый терпкий анзу. (То есть «абрикос».)

Конечно, когда солдат рядом не было, Ён Маль не разрешала ее так называть и клялась, что в жизни больше не прикоснется к абрикосам. Су Ри стала Саори, а На Ми — Намико: видимо, просто из-за созвучия. Я не отказалась от нового имени: приняв их псевдоним, я смогла отделять женщину на станции от прежней меня — хитрой и энергичной девочки из Хёгури в Корее. Так я стала Каё.

— Не забывайте, девочки, вы верноподданные Японской империи, — объявил Дзёба-сан, — поэтому забудьте свои корейские обычаи, особенно язык.

Их сюжет не только переосмыслил наши имена, но и дал новые значения знакомым словам. То, что они называли фабрикой, было вовсе не фаб-

рикой, а то, что они называли Японией, не было той Японией, которую мы знали. Нашим пунктом назначения стал Семаранг в Индонезии — одна из множества военных баз императорской Японии, разбросанных по Азии. Нам предстояло служить на станции утешения внутри базы. В первую ночь в Семаранге мы очень хорошо узнали, что такое их «утешение». Станция оказалась небольшим домиком, в основном из бамбука, внутри состоящим из двадцати пяти каморок, отделенных друг от друга тонкими перегородками, сплетенными из коры. Каждую из нас, двадцати четырех девочек, заперли в своей. Через несколько часов пришли офицеры. И делали с нами то, что потом делали тысячи солдат каждый день, который мы провели на станции, до самого конца Второй мировой войны. В первую ночь я слышала целый диапазон звуков ужаса. Все началось с воплей и визга, потом быстро переросло в гортанный рев, похожий на рев загнанного зверя. Временами звук резко обрывался после глухого металлического стука или сотрясающего стены грохота, за которым следовали японские ругательства. А в конце, когда ушел последний злорадный офицер, начался приглушенный хоровой плач. Уже скоро его поглотила глубокая и сырая яма ночи, изрыг-

нув россыпь задыхающихся всхлипов и, наконец, тишину: молчание смирения, тяжелое и серое, как мертвый глаз моей матери.

Днем множество солдат лишали утешения меня — около пятидесяти каждый будний день, двести по выходным. Когда я проваливалась в забытье, меня обливали из ведра ледяной водой, чтобы я очнулась и выполняла свой долг до заката. Когда наши промежности разбухали от бордовых мозолей, спины кровоточили, а от боли было не ступить и шагу, нам вводили в вены опиум: восемь-девять уколов по выходным, чтобы отвечать на быстро растущий спрос.

По ночам мы тайком перешептывались на родном языке, делились щемящими воспоминаниями о доме, от которых иногда улыбались, иногда давились от смеха, а потом плакали. Казалось, запас слов у Ён Маль был неистощимый. Она была говорушкой из тех, кого так просто не унять. В первые дни Ён Маль не сдавалась и говорила по-корейски перед Дзёба-сан и солдатами, пока ей не выбили второй зуб и не оставили хромой на левую ногу. Без двух передних зубов Ён Маль произносила каждую «с» как «ш», отчего мы часто хихикали. Она об этом знала и во время ночных бесед превращала в свое преимущество:

«Этот шукин шын!» — сказала она однажды о Дзёба-сан, вызвав подавленный смешок, что распространился среди девочек как пожар. Нам никогда не надоедало слушать Ён Маль. Я всей душой завидовала ее детству и умению рассказывать о нем.

Она родилась в богатой крестьянской семье в северном Пхёнандо. Ее отец, унаследовавший большую грушевую ферму от бездетного дяди, был человеком незлобивым и тихим, с бархатным голосом и робкими глазами, круглыми, как у теленка. Мать, заправлявшая хозяйством и фермой железной рукой, обладала деловой чуйкой и крепкими руками, готовыми к любым испытаниям. Несмотря на такую разницу характеров, родители Ён Маль построили теплый дом, полный любви, смеха и еды. У нее даже был свой конь. Она назвала его Па Рам, что на корейском означает и «ветер», и «желание». Па Рам был сладкоежкой — еще хуже, чем Чжа Ён, прибавила Ён Маль с лукавой улыбкой. Ему всегда было мало: она часто кормила его леденцами, складывая их тайком в наволочке перед следующим занятием верховой ездой. Иногда приходилось таскать дорогой белый сахар с кухни или покупать на рынке тыквенную тянучку на собственные карманные

деньги. В отличие от большинства мужчин, считавших женщин на коне вульгарным зрелищем, ее отец был рад видеть ее верхом на Па Раме — как она оживлялась в седле.

Больше всего нам нравилось слушать, как Ён Маль ускакала из города на рассвете дня собственной свадьбы, — эту легенду она рассказывала и пересказывала несметное число раз. Однажды она, к своему потрясению, обнаружила, что ее родители устраивают договорной брак. Взгляд украдкой на фотографию будущего мужа привел ее в ужас бледный долговязый мужчина по меньшей мере на десять лет старше, с двумя большими оспинами прямо над правой бровью, будто точка с запятой. Оказалось, это зажиточный портной из Пхеньяна, вдовец старше ее на тринадцать лет; его отец дружил в детстве с ее отцом. Ён Маль казалось, ее предали — как папа, такой великодушный и кроткий господин, мог строить у нее за спиной такие устаревшие козни? Он ответил, что это для ее же блага. «Ходят слухи, что японцы забирают незамужних девушек», — сказал он, и его брови сошлись вместе от незнакомой тревоги. Теперь-то она хорошо понимала, что он имел в виду, но тогда была слишком невинна. Когда в день свадьбы она спозаранок

облачилась в сияющее одеяние из кроваво-красной тафты, в ее голове была только одна мысль: бунт. Оставшись одна в своей темной комнате за белой занавеской из муслина, пока женщины в доме стряпали угощение для пиршества, она скинула алое платье, словно змея, сбросившая старую шкуру. Затем вылезла в окно, поспешила в конюшню и оседлала Па Рама. Они ускользнули через задние ворота так, что никто и не заметил. А добравшись до безопасной тропинки в лесу, перешли на галоп, и впервые в жизни Па Рам помчался под стать своей кличке.

Они летели к мосту, уже в каких-то десятках метров от границы ее поселения, как заметили коротышку. Это был мужчина, низкорослый, пухлый, и его плечи гнулись под двумя большими коричневыми кулями. Он уставился на нее и Па Рама.

— Ну и картина была, — шептала Ён Маль. — Девочка на высоком коне, в одном шелковом исподнем, мчится на него как ветер!

Она увидела, как у него затряслись коленки, потом один из мешков сорвался с плеч, по всему мосту рассыпалось что-то белое. Ён Маль не замедлялась. Но Па Рам вдруг зашипел. Громко заржал и резко остановился, отчего Ён Маль

взмыла в воздух. Последнее, что она помнила перед тем, как лишиться сознания, — ей в затылок врезалась ледяная река. Очнулась она уже у себя в комнате, в окружении родителей, слуг, врача и пухлого коротышки с моста. Оказалось, он был торговцем, нес ее матери мешки белого сахара, заказанные на свадебный пир. И пока Па Рам слизывал снежную пыль, припорошившую мост, торговец спас ее из реки. К счастью, Ён Маль отделалась синяками. К сожалению, свадьба прошла, как было запланировано, хоть Ён Маль и чихала каждые две минуты, а ее верхняя губа раздулась и стала размером с орех. А сахарный мост, по ее словам, в следующие дни притягивал всех окрестных щенков и проходивших мимо мулов.

Мы с любопытством и ужасом ожидали ее историю о первой ночи с нежеланным супругом. Она представляла отдаленно, что должно случиться, и была готова драться до последнего, даже бросаться горящими свечами, если придется.

— Жизнь полна сюрпризов, — пробормотала Ён Маль. — Он меня и пальцем не тронул.

Он только сказал добрым серебристым голосом, что ему надо отдохнуть после такого долгого дня.

И то, чего она ожидала, не случилось ни на следующий день, ни на послеследующий. А Ён Маль

вдруг заметила, что он не так уж страшен, как она решила по фотографии: в жизни его неуклюжая долговязая фигура — да вдобавок в бордовом костюме западного фасона, который он пошил себе сам, — оказалась симпатичной, даже статной. Ей нравилось, как его глаза улыбаются раньше его губ. Удивилась она и тому, что он обращался к ней на уважительном корейском[16], несмотря на разницу в возрасте. Ей нравились их беседы, когда его нежный голос лился с размеренным ритмом, словно он читал стихи. Даже оспины над бровью пришлись ей по душе — они вызывали особенное ощущение, будто бровь вечно изогнута в любопытстве или удивлении перед миром, который он описывал с таким жаром. Он любил Пхеньян и не сомневался, что полюбит и она, но ни к чему не принуждал. «Сама решишь, когда ты будешь готова», — сказал он, и глаза его при этом поблескивали.

С каждым пересказом менялись мелкие детали: однажды Па Рам стал пони, а не конем — проговорилась, да и мост над рекой иногда больше напоминал камни брода в ручье. Но никакие

[16] Примечания: 16

Как и во многих азиатских языках, в корейском есть разные степени вежливости в зависимости от положения собеседника (возраста, иерархии) и отношения к нему.

изменения не умаляли нашей любви к истории. Мы всегда вздыхали: сначала довольно, потом с тоской по утраченному миру. И никогда не просили повторить то, что случилось потом: Ён Маль и Ми Чжа — служанка, ставшая ей как младшая сестра, — пропали по дороге на рынок, отправившись за сладостями для Па Рама.

— Надо было не выпускать мужа из объятий, — пробормотала Ён Маль себе под нос, охрипнув от сожаления, — надо было сказать, как я полюбила его за такой короткий срок.

Ми Чжа начала всхлипывать, задыхаясь. В молчании мы впитывали часть их тоски и хоронили в яме у себя внутри. Чжа Ён, лежа рядом с Ми Чжа, крепко прижала ее к своей большой груди. Потом нашарила припрятанный в кармане кусочек карамели и ласково вложила в ладошку служанки.

Мы с Ён Маль были очень похожи. Обе смышленые и упрямые, как говорили остальные. Старались не плакать перед нашими похитителями утешения. Даже внешне мы были как две капли воды: того же роста и веса, с высокими скулами и слегка квадратными подбородками, чем и привлекали, и отторгали мужчин. «Вас легко можно принять за сестер», — однажды не удержался и сказал Дзёба-сан, всего с пары шагов

спутав меня с Анзу. Общей была и наша страсть к историям.

Но в отличие от Ён Маль, которая держалась за истории из дома, я своих избегала. Особенно последнего воспоминания о маме. Как после смерти отца она с каждым днем сбрасывала слой за слоем. Как ее растущий живот словно высасывал из нее разум, ее остроумие. Не за эту историю о маме мне хотелось держаться. Я не могла переступить эту пропасть между моей любимой мамой, энергичной современной женщиной, водившей дочурку на уроки английского к иностранным миссионерам, и той сероглазой мышкой, чья воля к жизни съежилась вместе с кончиной деспота.

Моя тяжелая жизнь была полна насилия. Отец своими кулаками и ртом сожрал мое детство. Станция утешения отняла мою юность. Но я так и не почувствовала себя женщиной. Нет, я видела в своих глазах старуху — сгорбленную, больше ничему не удивляющуюся да и ничего не ждущую от жизни, не считая неизбежного конца.

Но время от времени, отчаянно стараясь не сойти с ума, я вспоминала землю своей родной деревни, Хёгури. Вспоминала березовую рощу, где мшисто-зеленые листья сохраняли почву влажной и теплой круглый год. В детстве я ела ту

землю. Любила смаковать ее текстуру, и нежную, и колючую, ее теплый ореховый вкус, таивший удивительно горькую, металлическую пикантность. После смерти отца, когда мы похоронили его в березовой роще, я перестала есть землю. Снова начала только на станции, после первой смерти девушки для утешения. Это была Су Ри: ее одолела тоска по дому. Накануне ее смерти меня охватило желание попробовать землю на станции в надежде, что это вернет хотя бы мои чувства в некогда знакомый мир, в березовую рощу родной деревни. Но почва Семаранга — совсем не почва Хёгури. Слишком мелкая, слишком шелковистая, текстура сродни песку или мелу — ни капли той металлической горечи, которой мне не хватало.

Когда меня подвела земля, я прокралась в чужое убежище: затерялась в историях Ён Маль, проживая ее детство, пусть даже мимолетно. Во время этих воображаемых похождений я была ею — любимой дочерью, до станции не знавшей зла, — и дарила ее истории другую концовку вместо гибели в этом месте: возвращение к кроткому отцу, крепкой матери, в изящные объятия ее стройного возлюбленного, который так и не перестал ждать.

Действительность была не так красива, как истории, что мы втайне рассказывали друг другу по ночам.

Некоторые из нас забеременели, и малышей вырвали из утроб. Мы чудом пережили процедуру, но лишились надежды на другого ребенка.

После Су Ри мы задумались, кто будет следующей. Она первая утратила связь с реальностью. Стала звать каждого солдата «аппа» — «папа» на корейском; пугающим детским голоском без остановки бессвязно лепетала о своей семье, часто захлебывалась смехом. Она словно забыла японский, не могла отвечать на чужой язык, в том числе и на свое японское имя Саори. Просыпаясь, начинала тараторить на корейском и не умолкала, и однажды офицер Канеда решил ее заткнуть. Сначала — загнав ствол пистолета ей в глотку. Потом — сломав челюсть рукояткой.

Мы знали, что она не выживет. Но ее не забрали. Оставили у входа на станцию, нам в назидание. Прошло почти два дня — ее дыхание клокотало, как у новорожденной, половина ее лица, эта расплющенная паутина крови, то и дело подергивалась, а после ее тело медленно истекло кровью в тишину.

Потом, схватившись за живот, упала Ми Чжа.

Ее, самую маленькую и милую на станции, нам не хотелось терять больше всего. Но ее притянул к земле узел боли между ног. Все утро она стонала, свернувшись на полу, как креветка. На ее колени стекала струйками кровь. Когда ее забрали Дзёба-сан и врач, многие плакали — больше всех, конечно же, Ён Маль. Через полчаса Ми Чжа вернулась — все еще обхватив живот, ссутулив плечи, но улыбаясь. К нашему наивысшему облегчению, оказалось, что это не серьезная болезнь, а всего лишь первые месячные. Ён Маль долгие десять минут держала Ми Чжа в объятиях, не говоря ни слова. Ми Чжа было двенадцать.

Но ангел смерти спустился за другой девочкой. Ею стала На Ми, месяц спустя. На Ми, самая умная, говорившая по-японски лучше всех, мечтавшая стать первой женщиной-врачом в родной деревне, когда закончится война. У На Ми разбухал живот, неделями шла кровь. Когда она потеряла сознание из-за растущего жара, врач забрал ее, только чтобы вернуть через час — в полузабытьи, в бреду от боли. Если он что-то и сделал, ей это не помогло, а то и стало хуже. На Ми умерла через неделю, с промежностью черно-лиловой, как небо в грозу.

Война тянулась, притупляя наши угасающие

надежды, а жестокость солдат только росла. Изнасилования сопровождались побоями и руганью. Наш хлипкий ночной покой все чаще нарушался вторжениями завывающих пьяных офицеров. Я чуяла их страх — намек на слабость, замаскированный излишней грубостью. Только тогда они казались хотя бы отдаленно человечными.

Однажды ночью ко мне пришел офицер Канеда, он еле стоял на ногах.

— Раздень меня, Каё, — велел он удивительно нежно.

Я знала, чего он хочет: чтобы я сыграла нежную наложницу, которая снимает с него вспотевшую от войны одежду, обмывает усталые ноги, без конца повторяя слащавую ложь о том, что все будет хорошо. Я отказалась.

— Не стану, — сказала я. Если насилуют, так пусть насилуют, думала я, мне это не остановить. Но заискивать, угождать — уже другое дело.

Его глаза стали щелочками, зрачки поблескивали, темные, как тюленья шкура. Дальше все было ожидаемо: пощечины и удары, теплый металлический привкус крови из десен. Я слышала, как его искривленные губы фальцетом передразнивают мое «нет». Сжав меч, он выхватил его из ножен единым плавным свистящим движением.

Вот и моя очередь, подумала я. И закрыла глаза.

Они снова открылись, когда раздался голос.

— Давай, убей меня, — сказала она зловеще.

Я даже не узнала ее голос, несмотря на знакомые хрипотцу и скрежет. — Разве этим не голову врага рубят? — продолжала она. — Ты собираешься замарать драгоценный меч, дарованный императором, кровью маленькой беспомощной дзёсонпи[17]?

Канеда застыл, уронив челюсть. Кончик меча вопреки его воле уже опустился к полу.

Деревянный голос Ён Маль продолжал:

— Что ты за мужчина? И еще зовешь себя офицером императорской армии? Позор.

Передо мной стояло тощее тело Ён Маль, выставив пах к поникшему мечу.

Лицо Канеды пошло пятнами. Я видела, что его шок проходит.

— Ах ты грязная дзёсонпи! — рявкнул он, и его голос задрожал вдоль стен. — Да как ты смеешь порочить имя императора своим поганым ртом?

---

[17] Примечания: 17

«Корейская (чосонская) шлюха». Точно так же были нихонпи — японские женщины для утешения, тайваньпи — тайваньские, и т. д. Чосон («утренняя свежесть») — сохранившееся в нескольких языках (в том числе в северокорейском) название Кореи, существовавшее в 1392–1897 годах во время правления династии Ли.

Его руки сжались на рукоятке, пальцы побели. Потом он медленно поднял меч, поднес его изогнутое лезвие к подбородку Ён Маль.

Она медленно, со слабой улыбкой выгнула бровь. У меня в голове мелькнула мысль: «Она хочет умереть».

— Ну так давай. Покажи, на что это похоже. Сердце — вот здесь. — Она рванула ворот свободной блузки, оголяя левую грудь — истончившуюся и пожелтевшую кожу, покрытую сигаретными ожогами.

На следующий день я перебирала в мыслях всевозможные «почему». Из-за ее необыкновенного голоса, полного жуткой безмятежности? Правда ли она была готова умереть? Почему он заколебался? А самое главное — почему убрал меч? Я и Ён Маль— как мы с ней пережили ту ночь?

Вскоре я заметила, как, закашлявшись, Ён Маль сплюнула сгусток крови.

— Не подходите! — крикнула она нам. Туберкулез. Он начался после ее приступа малярии. — Мне немного осталось. Я себя знаю, — пробормотала она. Шумно выдохнула — то ли вздохнула, то ли фыркнула, я не знала.

— Вот почему ты не боялась, — сказала я ей — и себе.

— О, милая моя, я боялась, — улыбнулась она. — Сказать по правде, я думала, у меня сердце выскочит из груди.

— Тогда как?

— Ну, я подумала: я знаю, что все равно умру, так какая разница? Плюс этот трус знал, что у меня туберкулез. Не хотел, чтобы его забрызгало моей кровью. — Она подмигнула, показав свою щербатую улыбку. Эта обезоруживающая улыбка, которая так и лучилась детской игривостью и невинностью, и станет ее образом, что я буду носить вместе с ее именем. Ён Маль скончалась месяц спустя.

Истории не спасли ее, зато спасли множество других на станции, включая меня.

Но жизнь после ее смерти уже не была прежней. Наши ночные разговоры часто перемежались паузами. Никто из нас не был и вполовину настолько открытой и одаренной рассказчицей, как Ён Маль. Тишина ночей то и дело напоминала о ее отсутствии. А еще лишила дара речи Ми Чжа. Она перестала разговаривать — похоже, с головой погрузилась в смирение, наверное единственный вид пассивной агрессии, на которую она была способна.

Узнав о болезни Ён Маль, офицер Канеда начал

посещать по ночам меня. После ее смерти его визиты стали рутиной. Я знала, что я лишь запасной вариант, замена его отсутствующей фаворитки, обладавшая тем же упрямством, которое так раздражало и в то же время дразнило, теми же грубоватыми чертами лица, что напрашивались на его просчитанные удары, теми же высокими скулами, что сияли белизной под газовой лампой. Таких, как мы, он особенно любил мучить, приручать, трахать. В очередную хмельную ночь Канеда ляпнул, будто это он создал меня и Ён Маль.

— Это я назвал ее Анзу, а тебя — Каё, — пробормотал он и принялся выспрашивать, знаю ли я, как это переводится.

Я ответила, что и знать не хочу, но он все равно сказал:

— Прощение, Каё, прощение. — Он вперился в меня глазами, полными липкой ностальгии, словно ждал, что я кивну.

Я ответила, что «прощение» — мое самое нелюбимое слово. Фальшивое, выдуманное. В ту ночь на моей груди осталась дюжина сигаретных ожогов, прямо как у Ён Маль.

Когда ежедневно утопаешь в страданиях, порой находишь красоту в самом негаданном уголке.

После смерти Ён Маль, во время невыносимого молчания наших ночей, от давящего безумия меня спасал образ того, что многим другим показалось бы ужасной банальностью. Я видела это раз в неделю, за стенами станции и военной базы, когда нас возили на регулярный медицинский осмотр в военный госпиталь в деревне. Сидя в кузове дребезжащего грузовика, впитывая предплечьями тепло яркого тихоокеанского солнца, я упивалась видами местных жителей. Их сияющие темно-коричневые лица наполняли радостью. Редкие лица других людей, которые мне тогда доводилось видеть, — не считая лиц стонущих японских солдат. Казалось, это мои ближайшие союзники, сокровенные друзья, с кем можно поделиться самыми мрачными тайнами и печалями. Они непринужденно занимались своими делами: беззубый дедуля медленно катил на велосипеде в ленивом мареве дня; компания крестьян болтала в пути, перемежая разговор гортанным смехом; коренастая мамаша держала в охапке младенца, а второй, лепечущий, был привязан к ее груди, — их вид стал для меня сутью радостной повседневности. Порой, когда грузовик притормаживал перед тяжело навьюченными водными буйволами, я даже слышала

их речь на родном языке, настолько милую и утешающую, что на глаза мигом наворачивались слезы. Их интонация, жизнерадостная и игривая, касалась моих ушей, как детские песенки моей мамы, полные близости и неописуемого покоя. За те восемь минут ухабистой поездки время теряло значение; тот мимолетный миг стал регулярной дозой сил, надежды и красоты. которая помогала пережить очередную неделю в аду так. чтобы где-то в глубине еще можно было узнать меня. Это был воистину мой момент — то, чего не могли осквернить, не могли у меня отнять. И я держалась за него, как за последнюю соломинку.

Конечно, от еженедельного медосмотра была и практическая польза.

Хотя на базе имелся лазарет, из-за растущего числа венерических заболеваний среди солдат нас регулярно осматривал настоящий врач из военного госпиталя в городе. Во время моего четвертого визита доктор Мицуяма раскрыл свое настоящее имя: Ким Ён Су. Родился и вырос в Сеуле, доучивался в Токио, но тут его призвали в японскую армию.

— Мы все стараемся выжить на поле чужой битвы, — шепнул он мне на корейском, и в его запавших глазах поблескивала печаль.

Благодаря ему я стала собирать таблетки кымкёраб — с хинином, от малярии. Каждый раз просила штучку-две украдкой. Моей целью было накопить сорок. Это началось только после смерти Ён Маль: я считала, это последнее оставшееся средство сохранить чувство собственного достоинства: оборвать свою жизнь, когда из меня выжмут всю надежду до капли.

И вот я почувствовала — начало конца. С каждым днем воздух словно сгущался все больше: кислое и зловещее дыхание страха. Мы улавливали его в их пьяных воплях. Мы видели его в потупленных глазах — брешах их сурового фасада. Теперь даже пехота заваливалась на станцию пьяной среди бела дня. Некоторые офицеры, по слухам, больше времени уделяли опиуму, чем военной тактике. Офицер Канеда под одновременным действием виски и опиума впервые потерял сознание прямо передо мной. Чжа Ён рассказывала, что один рядовой с расшатанной психикой совершил в казарме сеппуку — самоубийство через потрошение, древний обычай самураев, проигравших в сражении.

— Янки идут, — прошептала Чжа Ён, и ее дыхание участилось от волнения.

Доктор Ким с его хмурым лбом и темными за-

думчивыми глазами однажды сказал, что конец всегда приближается поначалу постепенно, а потом внезапно. В день, когда он вручил сороковую ким-кёраб, он заявил, что конец уже не за горами.

— Скоро американские войска нападут на базу — может, завтра, может, через месяц, — прошептал он.

Когда я благодарила его, прощаясь, мое сердце билось, как птица в клетке. Он слабо улыбнулся. Потом в последний раз назвал меня корейским именем и поманил ближе. Не повышая голоса, попросил пообещать одно:

— Когда начнется атака, японцы могут согнать всех девушек в бомбоубежище. Не иди за ними. Их приучили не смиряться с поражением. Они не пощадят никого — даже самих себя. Понимаешь?

В ту ночь ко мне пришел офицер Канеда, естественно еле держась на ногах. Как всегда, он принес собственный стакан и матовые бирюзовые бутылочки дешевого алкоголя. Заглянув в пучины его отчаяния, вдыхая его терпкие опасения, я вдруг поняла, как мало Канеда понимает в этом мире. Начать с того, что он удивился, когда я сделала то, чего никогда раньше не делала без принуждения: налила ему обеими руками, опу-

стив глаза — по всем правилам. Он не ожидал, что я позволю ему насладиться моей внезапной капитуляцией и его злорадным чувством победы, молча кивая под его пьяные воспоминания о Ён Маль и славных былых деньках.

— Как я тебя создал, — бормотал он, — так ты и умрешь — моим маленьким прощением, Каё, прямо как Анзу, мой нежный абрикос.

Потом он, странно смеясь и плача, маленьким армейским ножом криво вырезал у меня на боку абрикос. Он и понятия не имел, что я снесу все молча.

Как же плохо он меня знал — после того, как столько лет врезался во все отверстия в моем теле. Это осознание вдруг выжало из меня беззвучный смешок с примесью жалости. Он не знал, что я рассказчица. Как и он, и Ён Маль. Это я сплела финал моего отца: когда его жестокость к маме стала невыносима и она потеряла глаз, я придумала, как положить этому конец. Это я его отравила, я сочинила причину его смерти для селян. Это я втайне похоронила его тело во мраке березовой рощи и сообщила соседям, будто мой отец-рыбак опять отправился охотиться на китов, а месяц спустя прислала сама себе фальшивую телеграмму, где говорилось, что в море его забрал шторм.

Хотя меня воротило от физической реальности его смерти, ее история сложилась у меня в голове сама собой. В дальнейшем я гадала, не моя ли наглость довела маму до помешательства после смерти отца — ее потрясло, что милая дочурка способна на такие выходки, не моргнув и глазом.

Не знал Канеда и того, что Каё — не первый мой псевдоним. До Канеды был другой человек: пожилой, белый, окрестивший меня иностранным именем. Меня назвал Деборой пастор Пелтье — канадский миссионер, преподававший английский рядом с нашим поселением; мама водила меня к нему каждую неделю, когда сама еще была молодой умной современной женщиной, которой я восхищалась. Вот еще одно, чего Канеда никогда обо мне не узнает: японский — не единственный мой язык. Обучаясь в детстве под именем Дебора, я научилась писать и говорить по-английски. Да, я в самом деле была писательницей: когда доктор Ким во время тридцать восьмого посещения узнал о моем секрете, он попросил написать важную записку на английском для американских войск — сигнал SOS на крошечном обрывке желтых обоев, с описанием местоположения японской военной базы в Семаранге и внутренней ситуации там, — а затем

тайком передал ее местному работнику прачечной, чтобы тот доставил разведчику янки.

Была и другая история, которую на сей раз я сплела по своей воле. Канеда придумал мне новое имя, а я написала ему тайную концовку. У меня не осталось выбора — смерть в любом случае уже брала меня в тиски. А с моим планом у меня появился шанс на месть и спасение, пусть и ничтожный. Я разыгрывала лучшую наложницу, покорную гейшу, о которой он так мечтал, наливала ему вино, зажигала трубку из кукурузного початка, наполненную порочным цветком, но в то же время, пока он, пошатываясь, выходил отлить, подсыпала в бутылочки с виски растолченные в порошок таблетки хинина, пока его тело не поддалось и не погрузилось в приторный сон. Доктор Ким сказал, что смерть от кымкёраб страшна: обильно истекаешь кровью через каждое отверстие тела. Чтобы скрыть кровь, мне придется помочь ему в последнем акте послушания: сеппуку. Если кто-то узнает, что я его отравила, меня будет ждать верная смерть. А если все поверят, что он предпочел покончить с собой, как подобает воину, я переживу это убийство.

Доктор Ким оказался прав. Все случилось прямо как в его философских размышлениях: конец

приходил сначала постепенно, а потом внезапно. С самурайским мечом Канеды в руках я смотрела на его тело: руки и ноги безмолвно подрагивали в последнем сражении против могучей троицы спирта, опиума и хинина, в котором ему никогда не победить. Я подняла меч, нацелив кончик на левый бок внизу живота, поражаясь собственному спокойствию, твердости хватки. Я лишь гадала, что за мысли промелькнут у него в голове, если его глазки в форме головастиков сейчас раскроются, как услышала первый раскат грома.

Он прокатился от дальнего восточного угла базы глухими волнами — неосязаемыми, словно во сне, словно этой чей-то чужой гром. Второй раскат стал резкой затрещиной, после которой на время глохнешь на одно ухо. Это уже ближе, знала я, чувствуя, как дрожит пол под босыми ступнями. А потом завыла сирена. Я выронила меч и бросилась прочь из комнаты.

Среди воя я слышала мужской крик:

— Девушки, если хотите жить, бегите в бомбоубежище!

Еще одна бомба. С крыши посыпалась сухая земля, коридоры заполнились желтушным туманом. Гулко отдавались приступы кашля. Приглушенное кряхтенье, хныканье.

— В бомбоубежище! Живо! — снова завизжал мужской голос, а за ним — смачный щелчок заряжавшейся винтовки.

Опрокинутая взрывом на пол, я пыталась вернуть дар речи.

Скоро по станции завихрились нетвердые шаги. Девушки спасали жизни. Голова тикала, как часы, пока я соображала, что на самом деле они бегут навстречу смерти. Хотелось во весь голос выкрикнуть правду. Но в туннеле зрения я видела в паре шагов от себя японского солдата с винтовкой; другой у входа на станцию следил за каждой девушкой, выбегавшей из выбитых дверей. Я пригнулась, спряталась за углом главного коридора. Ждала. Потом подставила подножку следующей паре ног. Девушка с шумом упала рядом. Это была Чжа Ён. Я быстро зажала ей рот. Не убирая руку, сделала страшные глаза, качая головой. Чжа Ён, уставившись на меня, кивнула. Я показала на туалет у заднего выхода, и мы вместе поползли туда.

— По-моему, мы тут последние, — с трудом прошептала Чжа Ён, задыхаясь. — Я искала Ми Чжа.

Когда мы окунулись в жижу табачного цвета, раздалась стрельба. Грохот доносился из бомбоубежища. Первые выстрелы гремели быстро,

залпом, потом — лениво, разрозненно. Мы с Чжа Ён молчали, застыв, как истуканы, надеясь, что на нас не обвалится соломенная крыша туалета. Опять гром, удары, такие тяжелые, что отдавались в горле. Потом землетрясение отъело угол туалета, впустив оптимистичный рябой свет утреннего солнца. Свист пуль, переливы снарядов, захлебывающиеся крики умирающих. Наши уши пережили час смертоносной неразберихи, что продлилась как будто целую вечность, пока не различили настоящую тишину.

Когда мы с Чжа Ён выползли через зияющую дыру в углу туалета, обтекая дрянью табачного цвета, эта тишина окутала всю базу.

Воздух пропитала пикантная гарь пороха. Зловоние горящий плоти. Ироничный запах, медный и терпкий, запах всей пролитой пунцовой портящейся крови.

Стояли только наша покосившаяся уборная и северный край станции. Но от южного края, где лежало тело Канеды, осталась только зазубренная груда камней, щепки почерневшей коры и веток. Даже сквозь дым я различала торчащую темную руку. Рядом растекалась подернутая масляной пленкой лужица густого красного цвета, переливаясь под восходящим солнцем.

Мы с Чжа Ен стояли в слезах. То, что мое хрупкое тело пережило эту невозможность, дарило животное удовлетворение. Но в то же время во мне уже расплывалась тяжелая печаль. «Постепенно, а потом внезапно», — говорил доктор Ким. Я размышляла над словом «внезапно». Удивлялась, как то, что нам казалось невозможным, — положить конец рабству — так легко, почти в мгновение ока сделали американские войска. Станция утешения, этот неприступный оплот зла, так резко, так просто обратилась в развалины.

Я поплелась к бомбоубежищу, на всякий случай подняв руки. За мной молча последовала Чжа Ён. Я догадывалась, что японские солдаты, должно быть, торопятся: две пыльные ноги виднелись уже у входа. Солдаты не дожидались, пока девушки укроются во тьме убежища. Начали стрелять, как только последняя переступила порог. Но после первого торопливого залпа уже не спешили, осматривая каждое стройное тело, добивая, если видели признаки жизни. До конца верные своему девизу: «Что происходит на станции, умирает на станции». Но готова спорить, они не ожидали, что от них ускользнет худшая мышка: коварная плутовка, рассказчица.

Ми Чжа мы нашли без труда. Я узнала ее ножки раньше лица — по великоватой ей заплесневевшей кожаной обуви Ён Маль. Теперь, в покое, ножки Ми Чжа выглядели бледными и вялыми. Я разула ее. У меня не было обуви, и к тому же хотелось иметь хоть что-то на память о Ён Маль и Ми Чжа. Глаза девочки смотрели в пустоту. Рядом присела Чжа Ён, пригладила ее взъерошенные волосы. Сунула руку к ней в карман — и достала последний кусочек карамели в хрустящей фольге. Чжа Ён развернула ее и нежно вложила в ладошку Ми Чжа.

Мы медленно вышли из убежища. Ручеек крови, бежавший от входа, становился гуще — и по цвету, и по размеру, — окрашивая почву в насыщенный бордовый. Я присела и всмотрелась в эту новую землю. Шелковистая почва Семаранга, всегда такая робкая и пресная, теперь, впитывая кровь утешительниц, приобрела новую твердость — грубую металлическую горечь, еще полную жизни, с послевкусием тепло-красным и резким. Я погрузила пальцы глубоко в темную землю. Вырвала пригоршню и проглотила целиком.

Четвертая жизнь

Я, снова я и родинка (*1955*)

Это история о родинке.

Размером с горошину, светло-лилового цвета. Он до сих пор помнит ее на ощупь: как она выпирала под пальцами, упругая и дерзкая, если нажать, и в то же время податливая, если приласкать. Маленькая черточка, благодаря которой он запомнит ее навсегда.

Как же он смаковал все характерные особенности ее тела, как они были отрадны взгляду. Ее высокие скулы и чуть угловатый подбородок — две необычные черты, которые мужчины редко считают красивыми в женском лице. И костлявые плечи — две ряби, что хищно взбегали вверх всякий раз, как она издавала свой гортанный смех… Этот звук вечно играет по кругу у него в мыслях.

Он представлял, как увидит ее снова, не сомневаясь, что сразу узнает. И не сосчитать, сколько раз он мечтал о мгновении, когда заметит ее в толпе. То в ревущей красной толчее на улицах Пхеньяна, празднующего день рождения вер-

ховного вождя; то среди бесформенных лиц в долине Дэдун, где раньше находился незаконный лепрозорий. Он узнавал ее с ходу в любых обстоятельствах.

Но в действительности первой его узнает она.

Найдя ателье, за гладкой стеклянной витриной она видит троих мужчин. Когда она ступает внутрь, все три пары глаз сходятся на ее лице. Все трое в костюмах, темно-серых, все высокие и стройные. Но она сразу идет к мужу. Она знает, что искать: две оспинки над правой бровью, будто перекошенные точка с запятой.

Она берет его лицо в ладони, словно хочет погладить пугливого зверька.

— Мой муж. Мой муж, — произносит она дважды. В первый раз звенит высокая нота, словно вопрос; во второй раз интонация опускается, как от теплого, тяжелого облегчения. На ее глаза наворачиваются слезы. И все-таки она громко улыбается.

Привидение. Морок. Пару секунд он не верит своим глазам. Но скоро понимает, что с прикосновением пальцев к его щекам не поспоришь. Он ищет на ее лице знакомые черты. Выдающиеся скулы и угловатая челюсть — всё на месте.

Это она. Ён Маль. Его жена.

Его любимая спутница, так быстро исчезнувшая из его жизни. Как развеявшаяся греза — без прощания, без следа. Это случилось больше десяти лет назад. Она вышла из дома со служанкой, сказав, что собирается на рынок, чтобы купить сладости для пони.

Одни говорили, она сбежала, чтобы вырваться из договорного брака. В деревне все знали, что один раз она уже пыталась. Первую попытку сбежать она предприняла рано утром в день свадьбы: улизнула через окно, потом через заднюю калитку, чтобы оказаться как можно дальше от нежеланного союза. Та попытка провалилась — Ён Маль упала в реку, когда переезжала через мост, — и свадьба состоялась.

Но второе исчезновение совсем другое, думает он. Их отношения начались с обязательства, как и все традиционные браки, но они все-таки смогли полюбить друг друга. Его, тихого и погруженного в себя, привлекала ее смелость, а энергичную Ён Маль — его терпение и мягкость. Они притягивали друг друга, как разные магнитные полюса. С каждым днем у них становилось все больше общего. Больше ее смеха, его взглядов украдкой, маскировавших его колотящееся сердце. И больше общих секретов. Шепот их разговоров перерос

до многозначительных улыбок. В первые три месяца брака они полюбили друг друга.

Или только я один? Был ли я слеп? Несмотря на первоначальную уверенность во взаимной привязанности, он не мог не терзаться этими вопросами.

До сих пор.

Первый день воссоединения проходит как в тумане.

Оба на седьмом небе, ошеломленные счастьем, вне себя от блаженства.

И все-таки ей надо мыслить ясно. Она знает, что от нее ждут историй. Она обязана заполнить зияющий пробел, охватывающий две войны, Вторую мировую и Корейскую, — дюжину лет отсутствия. И она расскажет только правду. Вопрос в том, о чем рассказать, а о чем — умолчать.

Другой важный вопрос — *когда* рассказывать. К счастью, она хорошо его знает. Одна из его черт самых дорогих ее сердцу, — умение ждать. Она уже знает о его терпении: по закону и обычаю он был в полном праве, но и пальцем не коснулся молодой жены без ее согласия. «Это твой выбор, Ён Маль, — говорил он, — а не мой». Она знает, что любить его — как мокнуть под моросящим дождем: это происходит понемногу, потихоньку.

Но когда она видит его в ателье, знает, что уже промокла до нитки.

Правда в том, что он застиг ее врасплох. Он намного красивее, чем она ожидала. Она-то думала встретить нескладного старика с болезненным видом. Но он не худосочный, не бледный. Это стройный мужчина с прямой спиной, с осанкой элегантной, как у фламинго, которого она однажды видела на картинке в учебнике английского языка. И ей по душе его постаревший вид: черно-серый костюм идет к его припорошенным сединой волосам. Ей нравится любоваться, как переливаются серебристые пряди, когда он задумчиво склоняет голову под яркими лампами ателье. А что не удивляет, так это его улыбка — она прелестна, какой и должна быть, расплывается от глаз к губам, а не наоборот, как у большинства. Она, пережившая две войны, вдруг понимает, что давно уже позабыла, как выглядит настоящая добрая улыбка.

«Это мой муж», — шепчет она вновь, мысленно. Хотя внешность не имеет для нее значения, если речь идет о любви, она все равно наслаждается его неожиданной красотой. Не может поверить своей удаче, она и не воображала, что тот, кто нравился ей за слова и теплое отношение, может

радовать и глаз.

Впервые в жизни ее накрывает вожделение к мужчине.

Она гадает, сколько сможет откладывать их первую ночь, ведь их брак так и не был закреплен в постели. Она не знает, как раскрыть ему свое тело. Ее не беспокоят шрамы — их скроет ночная темнота. Волнует ее другое: до исчезновения тело Ён Маль не знало мужчины. Но теперь узнало тысячи. Первая война повторяла этот урок множество раз. Как теперь телу изобразить невежество? Как забыть то, что ей вбивали в голову годами? Одно успокаивает: при всем при этом ее тело никогда не знало любви. Вот простая истина. Здесь ей ничего не придется разыгрывать, ни от чего не придется избавляться. Это и правда будет первая ночь, ее первая ночь.

Она снова всматривается в его лицо. Она уже полюбила отметины у него над бровью. Они нравятся ей на ощупь. Это одна из черточек, что делают его им, думает она. Она гадает, почувствовал бы он то же самое по отношению к ее шрамам, если бы знал. Наверное, да. Но рисковать не хочется — пока. Пусть сперва его чувства к ней снова окрепнут, прежде чем она раскроет то, что его потрясет.

Она тронута, что он заметил ее обувь. С первого же взгляда. Благодаря им он и назвал ее по имени. Ён Маль! Он произнес имя едва слышно — голос хриплый, глаза на мокром месте. Видимо, обувь решила все. Это он пошил башмаки ей в подарок. Он сам выбрал телячью кожу, темно-бордового цвета. Он решил сделать мыски округлыми, а не острыми, как было принято в дамской обуви того времени, чтобы в них она могла даже ездить на лошади. Теперь-то башмаки и не узнать, стертые временем и войнами. Их переливающийся бордовый цвет стал заплесневело-горчичным. Не каблуки, а без пяти минут дыры. И все же он узнал их — или то, чем они были. Ничего удивительного, что ее так трогает такая внимательность. Трогает до глубины души.

Впрочем, что иронично, та же внимательность не дает расслабиться. И она решает отложить разговоры до ночи. Они лежат лицом к лицу, она — спиной к окну, чтобы лунный свет проливался на его лицо, а ее лицо оставалось в тени. Так она сможет ловить каждую его реакцию, а он не увидит ничего. Первым делом надо испытать свою правдоподобность. И она решает с этим не тянуть. Ставит вопрос ребром.

— Я сильно изменилась? Выгляжу иначе? —

спрашивает она. Спрашивает приветливо и спокойно, но сердце так и рвется из груди.

— Да, — медленно отвечает он. Он вспоминает, что в течение дня подмечал на ее лице особенности, которых не было раньше. Маленькие круглые точки, напоминающие оспинки. А можно сказать, что это мелкие ожоги от разлетевшихся искр. Второе кажется более убедительным, учитывая бесконечные бомбежки времен войны, воспоминания о которых еще болезненно свежи в его памяти.

Да и говорит она иначе. Ее голос как будто смягчился. Лишился прежней звенящей силы. И все-таки он знает, что она пропала еще подростком. А теперь она зрелая женщина. Некоторые перемены естественны и неизбежны, убеждает он себя. Здесь важнее то, что он чувствует. А чувствует он всю ту же энергию, все тот же восторг. Без нее, в постоянном ожидании, любовь пустила корни глубже.

— Ты стала еще прекраснее, — говорит он.

И снова она чувствует, как сердце уходит в пятки, как ее охватывают и радость, и печаль. С губ слетает странный смешок, отчего она напоминает девочку, счастливую девочку. А она и правда счастлива; и еще ей очень страшно. Она

спрашивает себя, заслуживает ли такое счастье. И хочет верить, что да.

Она быстро учится. Послевоенный Пхеньян — прекрасное место для человека с ее складом ума. Всего пару лет назад здесь были руины: после ковровых бомбардировок американских ВВС во время Корейской войны от города камня на камне не осталось. У войны не было удовлетворительного завершения, злорадствующего победителя: кровавый пат привел к перемирию между США и Северной Кореей, после чего страна осталась разделенной надвое. Но народ Северной Кореи не терял духа, распаленный идеологией и пропагандой Коммунистической партии, тогда еще молодой и красивой. Партия сказала, что они справятся сами, в отличие от неверного южного брата, который уже побежал клянчить помощь за рубежом, особенно у янки. Народ и техника работали как единое целое, чтобы сделать страну величайшей в мире; «Рай рабочих на земле» — гласил их девиз, горящий красными буквами над воротами каждого завода и лаборатории, наряду с другими лозунгами — хвалами отцу-основателю Ким Ир Сену. Партия постоянно снабжала народ словами и образами, осуждавшими их брата-предателя; народ точно знал, что на улицах Сеула

до сих пор полно голодных сирот и попрошаек, тогда как в их городе-чуде, Пхеньяне, каждый день вырастает новое современное здание. Ей, как и многим другим, нравится город, хоть она и не поддается пропаганде, звучащей на каждом углу: она знает иностранные языки, уже повидала мир и не может верить им всей душой. Но ей не составляет труда подыгрывать, раз город стал убежищем для их любящей крепкой семьи, какой у нее никогда прежде не было.

Они живут в одном из пхеньянских домов-«гармоник». Дом напоминает край губной гармошки: череда прямых линий, ломающихся под углом, — все ради эффективности, ничего — ради уединения. Жилые помещения разделены хлипкими стенами, словно зерна в кукурузном початке, поэтому подслушивание — обыденная часть жизни, как и затхлый воздух длинных узких коридоров — этих вагонов-теплушек, куда редко проникает солнечный свет. Порой ночной сквозняк, проносясь из одного конца коридора в другой, завывает высоким фальцетом, словно и впрямь играет на губной гармошке.

Но для нее это счастливый дом. Ее место, куда каждый вечер возвращается любящий муж, чтобы его встретила радостная жена. На людях муж

немногословен. Собственно, чиновники партии, главные клиенты его ателье, уставшие на работе от бьющихся за повышение лицемеров, уважают его за трудолюбие, но больше всего — за молчаливость. Но дома, в постели, когда выключается свет, ее муж — один из самых славных собеседников на свете. Он делится с ней честными (иногда даже опасными) взглядами на жизнь, на мир. Однажды ночью он шепчет ей, как скучает по настоящему кинематографу.

— В прежние времена, — он понижает голос до шелковистого мурчания, — фильмы могли быть о чем угодно.

Он говорит о европейских и даже американских картинах, которые видел в молодости, о захватывающей истории Скарлетт О'Хара, о нежноголосой Дороти и ее Волшебнике, о вымышленном подземном городе Метрополисе, который, как она с иронией замечает про себя, чем-то напоминает их родную столицу.

— Хорошее кино с легкостью переносит тебя в другое место и время, — ностальгически вздыхает ее муж.

Как грустно, что теперь партия клепает фильмы, преследуя свои политические цели. Она кивает его кощунственным размышлениям,

борется с желанием рассказать свои истории о кино — те, что узнала от мамы, которая выросла в Сеуле[18].

Обычно она может слушать его всю ночь. Она обожает, как он говорит: как по писаному, оживляя фразы словами и метафорами, которыми другие почти не пользуются в обыденных разговорах. Это всегда напоминает ей о матери — редкой женщине для того времени, красноречивой и начитанной, коллекционерке слов. И ее завораживает это новообретенное значение семьи: когда удачный союз мужчины и женщины становится больше, чем просто суммой двух людей.

Семья. Никаким другим словом это не назвать, думает она.

---

[18] Примечания: 18

Во время японской оккупации кинематограф в Корее находился под постепенно ужесточавшейся цензурой с акцентом на пропаганду Японской империи — был даже создан Корейский колониальный киноотдел, выпускавший фильмы и хронику о японской культуре и отсталости культуры корейской. В кинотеатрах существовали отдельные места или ложи для инспекторов, которые могли нагрянуть в любой момент с проверкой содержания фильма. В конце концов требования двойной проверки фильмов (в Корее и в Японии), которую должны были оплачивать местные студии, привели к сокращению числа студий, а местные режиссеры перебрались в Китай.

Но при этом цензура была только идеологической и культурной и ограничивалась темами Японской империи и Кореи, а также коммунизма (среди прочего были запрещены «Броненосец „Потемкин“» и «Мать»), поэтому в то же время легко допускались фильмы с насилием

или эротическим содержанием. Это, а также слабая местная конкуренция открыли широкий доступ для импорта фильмов западных капиталистических стран, главным образом США. В какой-то момент зарубежный кинематограф занимал 60 процентов рынка. Однако начиная с 1930-х и до 1937 года (начало Второй японо-китайской войны) отношения Японии с Западом портились все больше, из-за чего квоты и контроль зарубежного кино становились все строже.

Так или иначе кинематограф в Корее на тот момент был привилегией только обеспеченного среднего класса в городах, тогда как большинство оставалось жестоко эксплуатируемыми крестьянами.

Рутина. Ежедневная и еженедельная. В прошлой жизни она ненавидела рутину. А теперь это частички удовольствия, которыми она никак не надышится. Почти каждый будний день муж надевает небесно-голубой костюм с тремя пуговицами или шелковый серый, двубортный; оба костюма стройные у талии и широкие в плечах, подчеркивают его фигуру — стройную и изящную, как у борзой. По праздникам он часто носит старый твидовый пиджак — мешковатый, с протертыми локтями. Ей нравится коричный оттенок, нравится вдыхать слабый аромат бензина после прачечной. По будням, как и любая корейская жена, она зовет мужа «йобо» — это обычное ласковое обращение к супругу; по выходным она обращается к нему «Ён Мин». Ей нравится, что у их имен одинаковые инициалы — Ё и М.

Ее любимое время дня — закат. Иногда она ждет Ён Мина дома. А иногда — даже чаще — сама идет к ателье, чтобы вернуться домой вместе. Она уже сдружилась с господином Сином, работником ее мужа. Это тихий человек, высокий и худой, как Ён Мин, с довольно суровым лицом, когда не улыбается. Но стоит ему улыбнуться — и он словно мальчишка из деревни, только что прибывший в большой город: наивный, ничего не

стоит одурачить. Она обожает момент, когда двое трудолюбивых портных ее еще не замечают. Но, наконец заметив, они обязательно бросают все дела и встречают ее улыбкой. И тогда она входит через стеклянную дверь, чувствуя, как щекочет затылок закат, томный и карамельный. Выходя с мужем рука об руку и прощаясь с господином Сином, она наблюдает, как сочится медом его улыбка, залитая закатным золотом. И узнает в улыбке каплю безобидной зависти — и от этого ликует еще больше. Хоть они живут на севере, кажется, что здесь солнце теплее. Повторяя все это изо дня в день, она открывает новый смысл жизни.

Муж воспользовался своими знакомствами и помог ей устроиться на работу. Теперь она трудится в валютном магазине Пхеньяна. Это не назвать работой мечты для большинства благородных пхеньянских дам, но она довольна, потому что каждый день через ее руки проходят зарубежные деньги и дорогостоящие товары. Тут и пригодилось знание иностранных языков. Благодаря хорошему английскому и приличному французскому, которым ее в детстве учил франко-канадский миссионер, она читает и понимает руководства даже на испанском и

итальянском, — и становится умелой управляющей, которая может объяснить и как хранить и смаковать кубинские сигары, и как стирать итальянский кашемир, чтобы он оставался мягким. Даже от вынужденного знания японского есть польза, когда она продает японские телевизоры женам партийных работников. Хотя при этом замечает большую иронию: на поверхности все японское в их самодостаточной стране считается злом, но у властей предержащих никогда не падает спрос на японские товары, которые считаются намного лучше китайских или советских.

Раз в месяц они с мужем ездят в Хесан — северный город у границы с Китаем. Это и деловая, и семейная поездка: они проведывают сестру Ён Мина, Ён Сим, которая заведует в Хесане торговым предприятием КНДР, благодаря чему может раздобыть импортную ткань. Разрешение на поездки им дают с легкостью благодаря клиентам Ён Мина из партии — единственному классу в стране, который имеет роскошь безнаказанно гоняться за последним писком моды. Хесан ее восхищает. Хоть ее и не тянет за границу, возбуждает уже сама близость. Она знает, откуда этот восторг: от ощущения свободы передвижения, пусть даже воображаемой. Ей, бывшему эксперту

по пересечению границ — как буквальных, так и метафорических, — хорошо знакомо чувство побега, близости новых возможностей. Ее самое любимое место — перешеек реки Ялу, естественной границы между Кореей и Китаем, меньше чем в сотне метров от дома Ён Сим. Здесь идет бесконечная торговля, в основном между китайцами и северокорейцами. «Это храм законопослушных воров», — однажды сказал Ён Мин с плутоватой улыбкой. Даже такую видавшую виды женщину, как она, поражает, насколько легко благодаря взятке и везению достать иностранные товары, которых вроде бы нет в стране.

Порой по ночам она тихонько крадется из дома, чтобы полюбоваться на реку Ялу. Под полной луной та словно живет своей жизнью. Когда на поверхность проливается лунный свет, вода раскалывается на тысячи черных поблескивающих тел: кто-то увидит черных карпов, а кто-то — армию змей или стаю маленьких морских котиков. Вечно в движении, все в одном направлении. Река громко гудит, дышит тысячью темных гибких жабр. Ей это зрелище и звуки кажутся волшебными. Но настает утро, и вновь солнце окрашивает воду в казенный уныло-зеленый цвет.

Она думает, сестра Ён Мина ее недолюбливает.

Ён Сим деловитая женщина, грузная и ничего не упускающая — противоположность своего младшего брата. Невестка ей кажется подозрительной, о чем она прямо и говорит Ён Мину. Наверное, Ён Сим видела, как она выходит по ночам. Но старается не устраивать скандал. Понимает, что их страна — родина паранойи. Это национальный вид спорта: подозревать, шпионить и доносить. К этому приучают с раннего детства. Все начинается уже в начальной школе, когда во время «очищения жизни» — собрания «самокритики» дети должны признаваться во всех дурных поступках или мыслях против партии, а потом рассказывать о проступках друзей и соседей, за которыми следует пристально наблюдать. И все-таки ей кажется, не ей винить других, раз она и сама нет-нет да подслушает разговоры Ён Сим с Ён Мином.

— Она так изменилась, — однажды прошептала Ён Сим. — Кто знает, чем она занималась столько лет?

— Не переживай, сестра, — мягко ответил ее муж. — Я знаю свою жену. Она хочет только хорошего.

И он прав. Она хочет только хорошего. Все, что она делает, — на благо ее и ее мужа. (Единствен-

ная, кто могла бы возразить, уже мертва.) Они любят друг друга. Они счастливы вместе. И эта совместная жизнь дарит то, чего она никогда не знала: непрерывное счастье. Хотя детские воспоминания о матери полны любви и радости, есть в них и червоточины: мрачные образы отца, застывшие во времени, отдающие соджу и затхлой кровью. Благодаря Ён Мину она узнала, что повседневная жизнь может быть ровным потоком удовольствий, блаженной скукой, на которую с улыбкой жалуются. Всю жизнь ее лишали этого счастья. А теперь она его наконец заслужила — и наслаждалась каждой минутой. Когда еще было тепло, на закате они гуляли вдоль реки Тэдонган; зимой катались по ней на коньках, и при виде снегопада пробуждались малые дети, что находились в спячке внутри них; в ветреные ночи, когда северные порывы играли на их доме-«гармонике», они смотрели под одеялом контрабандные фильмы, американские или южнокорейские: звук почти не слышно, руки липкие и сладкие от пота; под тем же одеялом они ночь за ночью занимались любовью.

Первая ночь. Как же она ее боялась и желала. Она проследила, чтобы прошло три месяца — столько же, сколько до своего исчезновения

прожила с ним Ён Маль. Но страх останавливал ее еще пару месяцев. И вот прошел еще месяц из-за ее нескончаемой трусости, пока однажды ночью ее не поразило жуткое осознание: больше тянуть нельзя. Если ей нужна эта жизнь, она должна принять ее во всем. Раскрыть новое тело значит раскрыть и свое прошлое, о котором она будет говорить только правду — с необходимыми пустотами и умолчаниями по своему выбору.

После той ночи она полюбила его еще сильнее. Он позволил пустотам пустовать. Он не копался в глубинах ее памяти. После того как все случилось, она плакала. Беззвучно — слезы просто бежали по щекам. Он взял ее за искалеченные ступни и грустно их разглядывал. А потом поцеловал.

— Помнишь, я говорил, что сошью тебе новые башмаки, когда ты вырастешь из этих?

Она кивнула. Он затих и молчал еще несколько дней. Но обнимал ее — даже крепче прежнего. Уже скоро вернулись слова и улыбки, он начал звать ее не по имени, а «йобо» — «дорогая жена».

Она не сразу полюбила секс. Она пыталась отделить его от своего прошлого тем, что называла занятием любовью, но это помогало не всегда. Каждый раз как будто кожей вспоминала то место: пошлый вкус джунглей; сырость, что

пронизывает до мозга костей, душит. Память о тех ощущениях так и не ослабла.

Но Ён Маль попала в точку: кое-что может расти только мало-помалу — «как мокнуть под моросящим дождем». И именно постоянная морось, а не прерывистые ливни требовалась сейчас ее телу. Все началось с небольших, малозаметных перемен. Она привыкала к движению бедер. Ритмичному движению мужских ягодиц, раньше вызывавших только отвращение. И со временем она ночами с Ён Мином сбрасывала страх слой за слоем. Сначала это казалось неуклюжим, потом нелепым… и даже забавным. Вместе с его нежным шепотом приходила особая близость. Скоро размеренность этих движений, как ни странно, начала ее успокаивать, словно гипнотизируя и утешая. К концу года она уже научилась погружаться в секс с головой.

Она помнит первую ночь пронзительного удовольствия. Это была одна из множества ночей в Хесане, у корейской границы. Ее разбудило видение — волшебная река Ялу, черно переливающаяся под чарами ночи. Потянуло снова увидеть реку. Она знала, что делать: тихо высунуть ноги из-под одеяла, одну из другой. Но вместо этого только зарылась глубже. Пальцы

нашли кудрявые волосы у него на животе. Медленно пригладили их. Он проснулся. Она мягко зажала ему рот рукой — нельзя было будить его сестру с маленькой дочкой, спящих в соседней комнате. В напряженной тишине кожа липла к коже, словно переплетенные страницы пыльной книги, которую никто не открывал, давно утраченной во времени.

«Теперь я знаю его, а он знает меня, как открытую книгу — почти», — думает она, улыбаясь про себя. Теперь ей приятней слышать «йобо» вместо Ён Маль. До сих пор имена ничего не значили — она уже сменила три, каждый раз просто безропотно принимая новое, когда ей его швыряли. Но «Ён Маль» было другим. «Ён Маль» — это первое имя, которое ей не дали, а она взяла сама. Она мечтала им овладеть, мечтала им стать. Но теперь, когда все удалось, она стала понемногу его ненавидеть. Чувствовала себя так, будто угодила в собственную западню. Чувствовала, будто любовь, которую она заслуживает, с ней разделила тень, выдуманная ею самой.

Она гадает, о чем именно он знает. Они занимались любовью только в темноте, поэтому он не мог разглядеть шрамы, но наверняка чувствовал их. О том, что было вначале, она сказала голую

правду: их похитили на рыночной улице японцы. Потом поведала не совсем ложь, но слегка подправленную, упрощенную версию: их забрали в трудовой лагерь в Японии, где каждый день заставляли заниматься физическим трудом, из-за чего погибло множество пленных, в том числе ее служанка Ми Чжа, а немногих выживших освободили и отправили на родину американские солдаты. О конкретном месте можно не переживать, спорит она сама с собой. Да, станция располагалась в Семаранге, в Индонезии, но почти вся Юго-Восточная Азия принадлежала Японской империи, так почему бы не назвать Японию? То же касается и вида физического труда, думает она. Опускала только мелочи. «Рана слишком велика, чтобы бередить ее сейчас» — вот что она сказала, отложив слова на потом. Он, похоже, смирился, ни о чем не подозревая, этот добросердечный человек. «Теперь я в безопасности», — чувствует она. Никто не раскроет ее блеф, ведь те, кого убедить было бы труднее всего, родители, скончались между войнами. Она уже заслужила — или, с точки зрения Ён Маль, вернула — главный приз в игре: доверие мужа.

Она гадает, когда же она началась всерьез, эта ее игра.

Не когда она вошла в лавку Ён Маль.

А когда ее звали Каё.

Так ее звали, когда она встретила Ён Маль. Той тоже дали новое имя, Анзу, но она отказалась его принимать. А семя, наверное, было посеяно в самом начале, когда другие корейский женщины для утешения на станции стали звать их — ее и Ён Маль — кровными сестрами. Они были приблизительно одного роста, чуть выше других девушек-подростков, худые, но широкоплечие. Другие говорили, что они «смеялись плечами»: плечи энергично ходили вверх-вниз в стаккаторитме хохота. А главное, у них были одинаковые упрямые подбородки и скулы, позже ставшие символом их возмутительной несгибаемости — и целью множества ударов. Неудивительно, что однажды Дзёба-сан окликнул ее: «Анзу!», хотя стоял вплотную. Неудивительно, что Канеда, японский офицер, приходивший мучить Ён Маль чуть ли не каждый день, после кончины той стал ходить к ней.

Она любила Ён Маль. Ён Маль спасла ей жизнь. Во множестве отношений, о которых и не подумаешь. Истории Ён Маль о доме научили ее, что в мире еще осталась красота: то, ради чего стоит жить, а не просто выживать. Еще Ён Маль научи-

ла тому, что некоторые голоса нельзя заткнуть. Такие лучше умрут, чем замолкнут, — похоже, это в конце концов и выбрала сама Ён Маль. Казалось, они были самыми близкими людьми на свете, ведь все последние годы они провели рядом, нашептывая друг другу истории. В стенах станции Ён Маль была для девушек мудрецом, а она — ее восторженным писцом. Преданная своему делу, она высекла на памяти каждый пустяк из историй Ён Маль. Так Каё и выжила на станции: спрятавшись в прошлом Ён Маль, воображая себя в ее башмаках.

Но даже когда она забирала кожаные башмаки, та мысль еще не пришла в голову. Перед смертью Ён Маль подарила свои знаменитые башмаки — свадебный подарок от любящего мужа — подруге Ми Чжа. А когда Ми Чжа погибла во время авианалета, Каё разула ее и обулась в них сама. Ей просто хотелось иметь что-то осязаемое, что напомнит о Ён Маль и Ми Чжа. А мысль расцвела где-то во время второй войны, когда все вокруг вновь обратилось в огонь и серу. Требовался новый клочок надежды, но в этот раз весомей. И она пообещала себе найти величайшее счастье, даже если придется до конца жить другим человеком. «Я забрала ее туфли — почему бы не взять

и ее жизнь?» В этой игре, думала она, никто не пострадает и все останутся в выигрыше, если все разыграть правильно. Она хотела считать это главным подарком от Ён Маль.

И все-таки теперь она задается вопросом: неужели я буду разделять счастье с личиной Ён Маль до самого конца?

Раньше она радовалась, что частичка подруги живет в ней даже после смерти, будто любимый дух. А теперь, когда она заполучила любовь, к которой так стремилась, это благословение стало тяготить, как очередной скелет в шкафу.

Это история о родинке.

Размером с горошину, светло-лилового цвета. Он до сих пор помнит ее на ощупь: как она выпирала под пальцами, упругая и дерзкая, если нажать, и в то же время податливая, если приласкать. Маленькая черточка, благодаря которой он запомнит ее навсегда.

И когда гаснет свет и спадают одежды, его пальцы вновь ползут по знакомому пути к ее подписи, к ее зернышку красоты. Пока голова как в тумане, его руки помнят. Спешат по впадине между ключицами, маленькими торчащими грудями — даже не помешкав и не вздрогнув на лежачих полицейских ее шрамов, на шершавом

завихрении, расцветающем у пупка, — и наконец прогуливаются справа у лобка. Если точнее, там, где нижний край кости встречается со складкой — а если пройти по ней, она приведет к пушистым волосам. Там-то и живет ее маленькая прелестная родинка.

Но родинки нет.

Руки в изумлении спешат влево, нашаривают признаки крошечного капризного бугорка. И не находят вновь.

И он спрашивает себя, неужели все это время был слеп.

И уже знает ответ.

Она казалась той же — но и другой. Та же форма лица, те же плечи, смех, знакомая смекалка. И при этом странная застенчивость: он ловил ее застенчивые взгляды, порой она даже краснела. А еще она так смотрела на него, стоявшего в западном костюме в своем ателье, — смотрела, приоткрыв сколотый передний зуб, — так, будто никогда не видела таким нарядным. И все-таки в его мыслях единственным виновником всегда было время. Ведь говорят же, что за десять лет могут измениться даже гора и река, рассуждал он. Собственно, эта новая грань даже очаровывала. А еще она казалась красивее. Ему нравилось, что ее

кожа стала более темной, сияющей, отполированной солнцем. Его радовала эта улыбка, детская и самозабвенная, когда она вплывала в ателье и ее лицо озарялось искренним удовольствием. Ее энергия оказалась заразительной — даже сдержанный господин Син, застигнутый врасплох, подхватывал ее улыбку и цеплял себе на лицо. Ён Мин почувствовал легкий укол ревности, и это его удивило и в то же время взбудоражило.

Она стала слушать. Раньше, несмотря на молодость, Ён Маль больше говорила, чем слушала, всегда готовая увести разговор в нужное ей русло. Он с удовольствием передавал руль ей и пускал свои мысли дрейфовать в течениях Ён Маль: она всегда была умелой рассказчицей, одаренной обезоруживающей честностью и безобидными преувеличениями. Но теперь, после возвращения, она почти не говорила о себе. Наоборот, ей было достаточно слушать его: бесконечные эпизоды его унылой жизни, списки его желаний в настоящем и прошлом, — то ли приступ ностальгии на склоне лет, то ли маленькое словесное восстание, благодаря которым люди ищут смысл в своем абсурдном мире.

Порой, перешептываясь с ней, он ловил в ее глазах тоску: они распахивались, потом дважды

моргали, быстро и уверенно. Он чувствовал, как из нее рвутся слова. Но она всегда сдерживалась. Хотелось умолять ее облегчить душу, позволить разделить с ней ее бремя, но Ён Мин не смел. Не хватало ее спугнуть, еще сильнее отяготить настрадавшийся разум. Ён Мин не мог позволить себе утратить ее вновь. Он бы никогда себя не простил. А значит, рассудил он, остается только ждать. Пока она не примет решение сама. И какую бы правду она ни решила раскрыть, как бы ни решила ее поведать, он готов принять все. Без вопросов, без оговорок. Так он всегда верил раньше — ничто не важно, если она вернется живой.

Он гадал, как бы она поступила, если бы знала, что он знает. Думал, что, возможно, где-то в глубине души она и так догадывалась, но просто слишком боялась признать. Ему было не понаслышке знакомо нежное утешение отрицания, отсрочки встречи с реальностью. Пусть и расплывчато, но он все-таки знал, зачем забирали тех девушек, почему отец Ён Маль торопился выдать ее замуж: пусть девушки не уцелели, но уцелели слухи о том, что с ними случилось. Никому не повезло сбежать и вернуться, разнести жуткую правду о том, что пережили их тела. А если они и возвращались, то не смели заговорить

об этом вслух — и он их прекрасно понимал. Их бы заставил замолчать даже их народ, их корейская родина, заклеймив шлюхами. Ведь называть их проститутками было куда проще, не так болезненно для мелкой гордости, чем посмотреть правде в глаза: родина не смогла защитить своих. А нет жертвы — нет и преступления. Все это он понимал.

Но чего он никак не ожидал, так это что она будет не той, что прежде, — причем буквально.

Он осознал, что был и другой верный знак, еще до родинки.

Но как же легко было от него отвернуться.

Он узнал их, как бы они ни сносились, — те кожаные башмаки, которые он сшил для Ён Маль. Тогда хотелось угодить ей, ее подростковым потребностям — и практическим, и эстетическим. Дорогую телячью кожу он выбрал, чтобы побаловать ее лучшим. Однотонный бордовый цвет выбрал, потому что знал: любые броские разноцветные варианты она отвергнет, назовет слишком девчачьими, будто сама еще не девчонка. Отказался от каблука и выбрал округлый мысок, чтобы в башмаках она могла кататься верхом, выгуливать пони в лесу.

И он выбрал не шить на вырост. Он знал, что

она еще молода и ноги вырастут, а дорогой подарок превратится в сшитые вместе бесполезные полоски кожи. Но в том-то и была суть свадебного подарка — он хотел, чтобы Ён Маль знала: он всегда будет рядом, будет расти и меняться вместе с ней, помогать на каждом шагу взросления. «Мне только в радость будет сшить тебе новую пару, когда вырастешь из этой», — сказал он, глядя ей в глаза, переполненные счастьем.

И стоило теперь его взгляду упасть на поношенные башмаки, как он обрадовался, а не опечалился. Уже начал придумывать новые: попроще, элегантные, но прочные, из мягкой черной кожи, чтобы и ходить на работу каждый день, и прогуливаться вдоль реки Тэдонган. Этим подарком он хотел показать, что они начинают заново и все, что было раньше, не имеет значения.

Он хотел устроить сюрприз. Поэтому дождался, когда она уснет, свернувшись калачиком. Присел, с мучительной осторожностью приподнял уголок одеяла и приложил линейку к правой ступне. И увидел перемену — отчасти вполне ожидаемую. Число, которое он запомнил после первой мерки, изменилось на полтора размера. Но чего он предугадать никак не мог, так это что число станет меньше, а не больше.

Он перепроверил еще два раза, пока сердце стучало, как ночной поезд, холодное и тяжелое.

Среди мелочей, что он усвоил за долгие годы, работая с лучшими портными и сапожниками, было то, что размер ноги молодого человека может увеличиться, но вот уменьшиться — никогда.

А теперь еще и родинка.

Его разум, как ни силился, не мог придумать объяснение.

Он снова посмотрел на ее ступни. Такие же усталые, как пережившие войну башмаки; без трех ногтей на пальцах. Вначале он решил, что башмаки сносились, потому что ноги выросли, а она желала пережить войну вместе с символом их любви — это было так трогательно. А поступиться любовью для него было невозможно. Зато памятью, если потребуется, — легко. И он сам себя убедил, что это его седая голова помнит не те цифры. Размер ноги уменьшиться с годами не может, а вот память затуманиться — вполне. Но теперь этот самообман не помогал — ведь опять его пальцы отчетливо помнили то, что подзабыла голова.

«Кто она?» — спрашивает голова. Но его тело уже знает ее так сокровенно. В конце концов, с

ней он уже дольше, чем с Ён Маль.

Она явно была близка с Ён Маль, раз так много знает о ее жизни, об их браке, думает он.

Но все-таки не настолько близка, чтобы знать о родинке. О маленькой тайне Ён Мина и Ён Маль.

После первой ночи, прежде чем тайком выйти из комнаты Ён Мина, Ён Маль шепотом попросила, чтобы это оставалось их секретом. Заставила его дать слово.

Это случилось уже через месяц после свадьбы. В день, когда они долго гуляли по березовой роще. Они обсуждали будущее. Она рассказала о своей любви к лошадям. Он — о жизни в Пхеньяне. Она впервые слушала с жадным вниманием. Он чувствовал, как их взгляды вновь и вновь сталкиваются. Так и подмывало взять ее за руку.

В ту ночь Ён Маль сама пришла к нему. Не считая керосиновой лампы, мерцающей у кровати, все поглотила темнота. Даже сверчки замолкли. Ночную тишину прерывали лишь шорох осенней листвы и вялое уханье.

Она жестом попросила молчать, сначала ласково приложив указательный палец к своим губам, а потом положив ладонь на его. Тот соленый привкус ладони — такой приятный, что он забыл, как дышать.

Конечно, он уже был знаком с женским телом. Знал, как его раскрыть, как разделять удовольствие. Она была почти вдвое моложе его. Но от ее смелости он стеснялся и нервничал, будто подросток. Она заметила, как дрожат его руки. Он увидел, как она потянулась к керосиновой лампе. Но вместо того, чтобы ее затушить, Ён Маль поднесла лампу ближе. Ее глаза лучились невинной дерзостью ребенка, любопытной и бесстрашной; голова чуть склонилась вправо, как у невинного зверька. Ее круглые глаза шарили, метались по его лицу, голой груди. А потом, мучительно медленно, она пропустила пальцы через его волосы, поблескивавшие от пота. Ён Мина не хватило надолго, как будто это был его первый раз.

Но ее это не смутило. Тогда ее не очень интересовал акт проникновения. Куда дольше они изучали и ласкали тела друг друга, словно влюбленные юнцы.

— Непременно надо повторить, — прошептала Ён Маль перед тем, как скрыться в ночной тьме.

И они повторяли. Почти каждую ночь.

Хоть они были женаты и любили друг друга — как телом, так и душой, — спали они порознь. Так хотела Ён Маль. Каждую ночь она кралась к нему, словно домушница. Он никогда не спра-

шивал почему. Может, думал он, это все юное озорство. А может, так она бунтует, разыгрывая равнодушие к отцовскому договорному браку. Возможно, ее просто возбуждал маленький секрет, двойная жизнь.

Непредсказуемая и непокорная, вот какой была Ён Маль.

А это кто?

Ён Мин поднимает голову и смотрит на женщину перед собой.

Близкая незнакомка, которую он и знает, и не знает.

Девушка с покалеченными ногами и шрамами между ног. Со сколотым передним зубом. С испещренной мелкими ожогами переносицей.

С самозабвенной детской улыбкой.

«Можешь ли ты рисковать тем, что потеряешь ее?» — спрашивает он себя.

Он бесшумно плачет. Потом целует ей ступни.

— Помнишь, я говорил, что сошью тебе новые башмаки, когда вырастешь из этих? — спрашивает он.

Она кивает.

И он понимает, что для лжи, как и для любви, нужны двое. Ни один обман не будет полон без обманутого. И как же ему хочется поверить —

добровольно, отчаянно.

Он знает, что сделает.

То, что ему лучше всего дается, — что он всегда делал и всегда будет делать.

Он будет ждать.

Шестая жизнь

Шпион, который пишет желтым (*2005*)

— И как же становятся шпионами? — спрашивает господин Пак своим любимым монотонным голосом.

Я улыбаюсь — заговорил как философ или поэт. Вновь дивлюсь его спокойствию, которое я со временем научилась ценить. Он задавал одни и те же вопросы десятки раз, но все равно они звучат, как в первый. Наверное, весь секрет в формулировке: этот человек не разбрасывается словами, но знает их много. Ему претит пользоваться одним и тем же словом даже в разговоре на одну тему. И это вызывает у меня улыбку, напоминая о том, кого мы с тобой оба так любим.

— Так же, как становятся матерями, господин Пак, — отвечаю я, не скрывая улыбки.

Воздух между нами рассекает молчание, скользкое, как лед.

Прочитав его выражение лица, я перестаю улыбаться. Его учили делать лицо нечитаемым, но три месяца наблюдений не прошли для меня даром. Я вижу, как чуть сдвигаются желваки, как

пробуждаются вены на висках. Медленно постукивает по столу указательный палец: раз, два.

Он думает, я опять над ним издеваюсь. Но нет Лучше метафоры я и правда не знаю. Жаль, он этого не понимает. Но мне хватает ума уловить его настроение и не переступать грань.

— Просто фигура речи, господин Пак. Я не хотела вас злить. И если ждете традиционный ответ, то его вы слышали уже не раз.

У него вырывается тихий вздох — не самый плохой знак.

— Вы знаете, как мы работаем, госпожа Чой. Расскажите опять.

«Расскажи опять?»

Какое-то время это был твой любимый вопрос — сразу после периода длиной в год, когда любимым был «почему?».

Ты просила рассказывать одни и те же истории, хотя и так знала все подробности, каждую деталь, каждую запятую и каждый вздох — просто потому, что любила их, любила слушать их снова и снова. Наслаждение для тебя и тяжелое испытание терпения для меня. И с каждым пересказом становилось все сложнее, ведь ты всегда находила новый вопрос, чтобы мне докучать: «Почему жена Нольбу ударила Хынбу лопаткой для риса?

Почему не ситом или тростью?», «А разве не могут помочь сорока или голубь? Почему обязательно ласточка?», «Почему верховный вождь не накормил Хынбу, когда тот голодал? Нас ведь он всегда кормит, да?»[19].

Сначала слова завораживали, но через несколько месяцев уже раздражали. А иногда я не на шутку пугалась, потому что знала, что в нашем обществе дорога к расстрелу или трудовому лагерю вымощена вопросами.

Вопросы. О, как ты их обожала. Стоило научиться связывать два слова, как ты принялась забрасывать меня вопросами. И уже не останавливалась, пока не стала подростком. А потом, видимо, начала больше доверять сверстникам, считать их круче и умнее.

Говорят, каждая мать считает своего младенца гениальным, но в конце концов тот вырастает обычным ребенком. А у меня все наоборот: я никогда не считала тебя гениальной. Но видела, что ты поумнее многих.

Какая еще трехлетка будет расспрашивать о

---

[19] Примечания: 19

Имеется в виду старинная корейская сказка «Хынбу и Нольбу», написанная в период Чосон. Бедный Хынбу приходит к богатому Нольбу просить рис для своей семьи, но жена Нольбу бьет его лопаткой для риса; та прилипает к его лицу. Увидев на ней остатки риса, он просит ударить его еще, чтобы соскрести больше объедков для семьи.

смерти?

Однажды ты спросила нас, почему у тебя нет бабушки и дедушки.

— У Гым Чжу два дедушки, почему у меня ноль? — ворчала ты.

Я ответила, что они уже ушли. И только затянулась в порочный круг новых вопросов: «Что значит „ушли“?» — «Значит, умерли». — «А что значит „умерли“?» — «Значит, что их больше нет с нами, что они попали на небо и больше не вернутся». — «А что они делают на небе?» — «Этого никто не знает, Ми Хи». — «Почему?»

Я знала, что зря вспомнила это старое корейское выражение, эвфемизм смерти: «попали на небо». Его запретили, считая, что у него религиозный оттенок, а религии в нашем обществе места нет. Но я все равно сказала именно так. Решила, твоему маленькому разуму будет проще понять.

Через несколько месяцев ты впервые увидела вблизи самолет. Мы проходили у ворот Хесанского аэропорта. Это было задолго до начала конца, когда еще хватало регулярных рейсов туда и обратно. Сначала ты обратила внимание на шум. Все началось с далекого раската грома — ты тут же навострила уши, пригнула голову, сжала мою ладонь. В следующий миг мы уже стояли прямо

под огромным самолетом, глядя на гладкое серое брюхо, наблюдая, как он скользит все выше в небо, пока солнечный блик на хвосте не скрылся в облаках. Ты так и стояла, завороженная, даже когда развеялся конденсационный след.

И весь день помалкивала — а это на тебя непохоже. Потом, вечером, когда я тебя укладывала, ты, вцепившись в край одеяла, выпалила вопрос:

— Мам, ты сказала, дедушка попал на небо, да?

— Да. Собственно, все твои дедушки и бабушки попали туда. Еще до того, как ты родилась.

— Самолет летает высоко в небе.

— Да, ты сама сегодня видела.

— Значит, если я однажды полечу на самолете, встречу дедушку?

— Знаете, я никогда не выпрыгивала из летящего самолета или горящего дома. В отличие от того, что себе воображают люди, физическая подготовка — совсем не главное. Большинство начинает не с этого, — говорила я господину Паку.

— Тогда с чего начали вы? Что было первым в вашем случае?

— Языки.

Пак склонил голову вправо, совсем чуть-чуть. Так он просил продолжать.

— Классическое начало — это Пхеньянский университет иностранных языков. Туда отбирают лучших учеников с высшими отметками по иностранным языкам. И тщательно проверяют их прошлое. Дети должны быть из хороших семей высшего класса и иметь многочисленную родню — на случай, если захочется переметнуться во вражескую страну, где они будут работать.

— Но это не ваш случай. Вы не получали высшее образование.

— Конечно, нет. Я была не такой, как все. Всегда.

«Не такая, как все». Я замечаю, что произношу это с фальшивой гордостью.

Он отводит взгляд. Теперь он смотрит куда-то в правый угол, где расцветает пятно серой плесени. На его лице пусто. В этот раз я не могу его прочитать. Не знаю, то ли он сосредоточенно размышляет, то ли ему скучно. Но все равно продолжаю:

— Вернувшись на Север, я с радостью воссоединилась с мужем, которого не видела больше десяти лет. Это было лучшее время моей жизни. Наша жизнь в Пхеньяне. Тогда мы еще жили богато. Молодежь на улице еще была румяной и упитанной.

На глазах выступают слезы, вопреки моей воле. Я злюсь на себя. Сжимаю под столом кулаки. Чувствую, как ногти впиваются в ладони, оставляют отпечатки-полумесяцы. Укол боли, чтобы закрепиться в «здесь и сейчас». Он как будто заодно разбудил и Пака. Хотя тот по-прежнему молчит, его выдают глаза: радужки темнеют и круглеют, как у кота в ночи.

— Наверное, мы были слишком счастливы, а значит, глуповаты. Так бывает из-за переизбытка счастья. Ты расслабляешься, теряешь бдительность. Сейчас-то я понимаю, что было бы странно, если бы меня не заподозрили с самого начала. Как я могла быть такой слепой? Чтобы женщина взяла и так просто появилась после десяти лет отсутствия?

— И что им показалось самым подозрительным? — Пак спрашивает сухо. Он уже знает ответ. И хочет скорее довести разговор до цели.

— Конечно же, языки.

— А что с языками?

— Я знала английский. Хорошо на нем говорила.

— А раньше не могли.

— Нет, вообще. А еще японский. Я знала пару слов, но, когда вернулась, уже отлично и говори-

ла, и читала.

— И как у вас обнаружили такие лингвистические познания?

— Наверное, это все мое тщеславие. Я тогда работала в пхеньянском магазине с иностранными товарами, которые могли покупать только высокопоставленные лица. И там я часто переводила на корейский иностранные руководства для покупателей. Думала, что и им помогаю, и безобидно хвастаюсь своей грамотностью. А кто-то, видимо, донес в Бовибу[20]. Признаюсь, я была наивной. Или просто дурочкой.

Аэропорт. Место, где ты впервые увидела самолет. А еще место, где умерла твоя наивность. После этого ты перестала быть ребенком.

На Хесанском летном поле ты увидела первую

[20] Примечания: 20

Бовибу — Департамент государственной безопасности КНДР, или тайная полиция (год основания — 1973-й).

публичную казнь[21]. Тебе еще не было и одиннадцати.

Они проследили, чтобы казни увидел каждый ребенок. Так они учили — прививая страх и покорность.

Так странно было видеть смерть под солнцем. Среди бела дня, громко, как динамик с пропагандой.

К деревянным столбам были привязаны за голову, грудь и щиколотки двое молодых людей. Глаза им закрыли повязками. Одного арестовали за просмотр порнографии, американской, другого — за романтический фильм, контрабандой ввезенный из Южной Кореи. Обоих наказали одинаково — расстрелом.

Дали три залпа, целясь в веревки, удерживав-

---

[21] Примечания: 21

На данный момент КНДР заявляет, что публичные казни запрещены, последняя прошла в 1992 году, и с тех пор казни в целом применяются в исключительных случаях (официально называются 13 эпизодов). В законах казнь сохраняется как превентивная мера и применяется в случае преступлений, связанных с изменой государству, однако конкретные нормативные документы правительство предоставляет неохотно. Организация Amnesty International собирает все возможные данные на эту тему, но в конечном счете большая их часть основана на показаниях беженцев либо спонсируемых Южной Кореей и странами Запада СМИ, а потому противоречива и неподтверждаема. Впрочем, если судить по большинству показаний, где все-таки говорится о публичных казнях, их посещение необязательно и в последние десятилетия они применялись по отношению к убийцам, грабителям, насильникам, а главное — коррупционерам и изменникам на высоких постах (что подтверждает правительство КНДР). Если в Северной Корее

действительно до сих пор сохраняются публичные казни, то она одна из четырех стран, где это еще происходит; остальные три — Иран, Саудовская Аравия, Сомали.

шие тела у столбов. От первого залпа разнесло головы. От второго тела, еще привязанные за ноги, повалились вперед, словно просили прощения. От третьего трупы повалились на землю. Все произошло быстро. Розовый туман еще витал вокруг деревянных столбов, залитых теплой кровью.

В нормальном мире я бы закрыла тебе глаза.

Через пару месяцев тебе исполнилось одиннадцать. Ты объявила нам, какой хочешь подарок.

Велосипед. И точка, сказала ты.

Вместо велосипеда мы купили красные блестящие туфли. Ты рвала и метала.

— Ты хоть понимаешь, какая это редкость? — спросил папа.

— Другие девочки твоего возраста готовы умереть за такие красные туфли, — прибавила я.

Мы даже не пытались объяснить простую истину: девочкам запрещено кататься на велосипедах. Мы считали, ты и так понимаешь — и именно поэтому его и просишь. Мир вокруг говорил, что девичье тело на велосипеде — это бесстыдство: ноги раздвинуты, сидит на седле, будто крестьянский мальчишка на лошади, зад медленно танцует туда-сюда. Ужас и разврат,

думали люди[22].

А ты все равно ездила. Тайком сбегала со старым японским велосипедом папы, еще высоковатым для тебя. Неудачно упала у реки Ялу и чуть не сломала ключицу. Мы с папой знали, что тебя не остановить. И в конце концов купили маленький велосипед, как ты просила. И заставили пообещать, что не будешь кататься на людях.

А ты каталась. Тебя увидели, пошли слухи. Некоторые мальчишки обзывались. Люди постарше тебя окрикивали, когда ты неслась мимо по главной улице. Учительница вызвала меня в школу, чтобы отчитать, обдавая кислым дыханием: «У нее порвется плева! Не дайте дочери лишиться девственности из-за велосипедного седла!»

Публичная казнь подействовала на тебя стран-

[22] Примечания: 22

Предположительно, в Северной Корее велосипеды были законодательно запрещены по неизвестным причинам как минимум с 1970-х (по меньшей мере в Пхеньяне), причем в том числе и для иностранцев. Запрет был снят в 1992 году, с началом экономического кризиса, когда дешевый транспорт стал жизненной необходимостью. Лучшими и самыми дорогими считались японские велосипеды, массово привозившиеся моряками-«челночниками», но было и несколько северокорейских марок. Существуют противоречивые слухи о дальнейших законодательных запретах велосипедов и мопедов для женщин, которые то вводились, то отменялись; так или иначе, если запреты и были, на практике (особенно за пределами городов) они не соблюдались. В Пхеньяне существует и прокат велосипедов, и велодорожки, однако для езды нужно сдавать на права и получать номерные знаки.

но. Вызвала маленький побочный эффект, на который они не рассчитывали. Она разожгла твое любопытство. Ты захотела всего, ради чего те парни решили рискнуть жизнью. Но, к счастью, при этом ты была умнее. Знала, насколько опасна твоя слабость, знала, когда лучше отступить. Играла с огнем и не обжигалась. Потому что тебя учила я.

Мы с папой знали, что рано или поздно ты прикоснешься к запретному. К чему-то пострашнее езды на велосипеде — она была общественным табу, но все-таки не уголовным преступлением. Мы поняли, что, если просто говорить тебе, что можно, а что нельзя, ты только фыркнешь. Пришлось говорить, чтобы ты не попадалась. Пришлось учить притворяться и вешать лапшу на уши, как я сама научилась за две войны.

Среди прочего ты научилась у меня рассказывать истории. Ты умная девочка, и в школе тебе давался любой предмет, кроме одного: «очищение жизни». Это еженедельный сеанс самокритики, когда все по очереди признаются в грехах, совершенных против Партии, против идеалов верховного лидера, на словах, на деле или в мыслях. Уже с начальной школы учили шпионить не только за другими, но и за собой.

Партия говорила «самоанализ», хотя весь мир сказал бы «самоцензура». Твое мнение? «Сплошная головная боль».

— Мам, учительница заставляет меня признаваться, даже когда не в чем! А она злится и ругается, что я грешу уже тем, что лгу, не говорю правду!

— «Искусство рассказывать», — ответила я. — Притворись, что урок называется так, Ми Хи.

И тебе это помогло, ведь ты жадно читала книжки, обожала небылицы. Выдумывать истории для самокритики — дело каверзное. Нужно изобретать мелкие прегрешения — достаточно правдоподобные и плохие, чтобы в них сознаваться, и в то же время достаточно невинные, чтобы не напроситься на серьезное наказание или включение в черный список. Ты училась быстро. Стала настоящей маленькой машиной небылиц. «Сегодня утром перед тем, как пойти в школу, я спросонья забыла поклониться священным портретам нашего Великого Вождя и

Любимого Руководителя[23]. Пожалуйста, простите меня за ничтожную лень. Когда на истории мы учили идеологию „чучхе“ нашего Великого Вождя, я поняла, что недавно совершила страшное преступление — променяла лишний карандаш на ластик товарища Ёнхе, и теперь сгораю от стыда из-за того, что ненароком участвовала в порочном капитализме янки. Когда на день рождения нашего Великого Вождя я получила конфеты и новую одежду, я от радости обняла папу и сказала ему спасибо, забыв, что на самом деле это подарки от нашего любимого и уважаемого отца нации, а не от моего родного!»

Еще я научила тебя плакать. С возрастом от детей ждут все большего рвения на «очищении жизни». Иногда урок кончается массовой истерикой, с воплями и слезами. Ученики от стыда проливают по слезинке, а потом начинают плакать навзрыд, часто падая на колени и раскачиваясь взад-вперед, колотя кулаками про полу. Тебе выдумать историю было проще, чем

[23] Примечания: 23

У руководителей Северной Кореи Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына есть целый список особых титулов, и некоторые звания уникальные, хотя они часто пересматривались на протяжении истории согласно требованиям момента. Так, Ким Ир Сена называли Великим Вождем, зарезервировав за ним это звание, а его сына Ким Чен Ира при жизни отца чаще называли Любимым Руководителем, после смерти отца — Великим Руководителем.

изобразить слезы. «Как я могу плакать от стыда, мам, если я его не чувствую?»

Каждую вторую пятницу ты приходила злая и раздосадованная, и в твоем голосе еще слышалась неудачная попытка расплакаться. Но я знала, что ты можешь плакать. Просто тебе нужно другое топливо. И я посоветовала пользоваться своим гневом:

— Задумайся обо всех тех, кто тебя злит, например о том большом задире, который бросил камень в твой велосипед, чтобы ты упала, а потом обозвал избалованной дурой. Превращай этот огонь в слезы, милая.

Еще я предложила биологический прием на случай, если не поможет психологический:

— Пригни голову и прикрой лицо ладонями, будто плачешь, но держи глаза раскрытыми и не моргай. Скоро их защиплет, хочешь ты или нет. Стоит пролить первую слезинку, остальные уже сами хлынут рекой. Сама увидишь.

Урок слез тебе в жизни пригодился, особенно позже, когда умер Великий Вождь, которого люди негласно считали бессмертным. Тогда всю страну охватила апокалиптическая истерика. Люди толпами стягивались к огромным бронзовым статуям Ким Ир Сена высотой с четырехэтажный

дом, чтобы массово выплакать себе глаза. Под жарким июльским солнцем над асфальтом дрожало марево, от миллионов тел, корчащихся от скорби, исходила вонь. Многие падали в обморок. Кое-кто погиб. А инминбан за всем следил. Банчжан[24] каждой рабочей бригады и класса записывал, как часто его подчиненные скорбели на людях, как именно плакали. Не плачешь — заигрываешь со смертью.

Сейчас я пишу этот дневник — или письмо, если угодно, — желтым. На прошлой неделе писала фиолетовым. На позапрошлой — красным. Когда я пожаловалась господину Паку на красный, на то, что мне уже осточертело видеть красные тексты, он все понял — и дал фиолетовый. Я опять пожаловалась и попросила обычный черный. Тогда он ответил своим мягким монотонным голосом, что пурпур — благородный цвет, цвет королей:

---

[24] Примечания: 24

Инминбан (районная единица) — народные группы, вид совместной организации для районов, домов, подъездов и т. д.; обычно состоит из нескольких десятков семей, занимается общественными работами типа субботников и следит за порядком.

Банчжан — руководитель таких и других общественных групп; получает небольшую зарплату и ряд льгот; часты случаи коррупции среди подобных руководителей из-за их малого оклада и обладания некоторой властью.

— Знаете, давным-давно естественные пурпурные красители были редкостью, поэтому ими пользовались только единицы, обладавшие высоким положением и большим богатством.

Он заявил, что этот образ исключительности сохранялся на протяжении истории, и в конце концов пурпурный цвет стал символом голубой крови. Я в ответ улыбнулась и сказала, что мне нравится его слушать. Вот только для меня фиолетовый — цвет голода, мертвых лиц и конечностей, наваленных у вокзала, на рыночных улицах Хесана.

Конечно, я знала, что Пак заговаривает мне зубы. Знала, что он дает фиолетовый только потому, что других не нашлось. Но он врал изящно, приукрашивая ответ байкой. Это мне в нем нравилось, как и его умение говорить. Поэтому, когда он принес фиолетовый восковой мелок, я стала писать им.

Да, это не карандаш. Он мягкий в отличие от карандаша, без острого кончика. Вместо графита — цветной воск, вместо дерева — тонкие узкие полосочки бумаги, которые надо поочередно отклеивать, вместо того чтобы точить. Что-то среднее между мелком и карандашом, придуман для детских раскрасок, но другого тут не дают.

Ведь у меня в комнате не могло быть никаких колющих предметов — ручек, карандашей, вилок, даже деревянных палочек для еды. Видимо, они воображали, будто я, как какой-то Джеймс Бонд или Макгайвер, могу убить взрослого мужчину одним щелчком ручки. Хоть я, конечно, владела некоторыми видами оружия или могла отравить человека, если придется, такая грубая работа все-таки была не моей специальностью.

Моей специальностью было сочинять истории — как это письмо, которое я тебе пишу. Господин Пак понял это раньше других — он и предложил мне все записать. Знал, что я не нахожу себе места по ночам, что голова у меня пухнет от мыслей.

— Писать — лучший способ привести запутанные мысли в порядок, госпожа Чой, а заодно провести время, — сказал он. — Можете вести дневник или писать письма кому-нибудь, если вам так проще.

С тех пор я пишу цветными карандашами из воска и бумаги, которые не могут причинить вред ни мне, ни кому-либо другому. Все в выигрыше: я не схожу с ума от безделья, а они лишний раз испытывают мою надежность, читая мои тексты. Они прочесывают мои слова, и письменные, и устные, чтобы найти сбой или нестыковку среди

моих повторяющихся показаний, прежде чем решить, надежный я актив или нет.

Сначала я ненавидела желтый. Жаловалась Паку, что желтый текст сливается с белым фоном, особенно при моих стареющих глазах. Тогда он ответил, что желтый — цвет надежды.

— Того, что нам обоим сейчас очень нужно, — сказал он со своей особой слабой, странной улыбкой — его брови и губы говорили о разном.

Желтый как надежда. Выдал бы эту банальность кто другой, я бы отмахнулась. Но, как я уже тебе писала, господин Пак умеет придавать своим словам вес. Даже когда говорит штампами.

Обычно он немногословный слушатель — знает, когда помолчать, а когда открыть рот. У него бархатный голос, задумчивое чело. Прямо как у твоего папы.

Тебе было два года. Однажды утром ты пришла, взяла мое лицо в свои пухлые ладошки и нежно поцеловала, словно я самая хрупкая, самая милая вещь на свете. И потом сказала: «Как папа целует маму».

Мы не помним тебя до двух лет. Я никогда не держала на руках комочек радости, омытый моей же кровью. Прилив блаженства и ужаса, слезы от могучей телесной связи — ничего этого

у меня не было. Мне потребовалось время, чтобы с тобой познакомиться. Полюбить тебя, узнать. Я становилась твоей матерью мало-помалу, шаг за шагом. Я стала матерью с помощью практики. С помощью подготовки.

Мы не знали твою родную мать. На самом деле твоей первой приемной матерью стала Ён Сим, сестра твоего отца, которую ты теперь знаешь по старым семейным фотографиям как тетушку Ён Сим. Она, как и я, не могла родить. Я только знаю, что она незаконно удочерила ребенка несовершеннолетней девушки из местных, которая хотела покончить с собой. Ён Сим не остановило, что она будет матерью-одиночкой. Видимо, ты ей очень нравилась.

Нам пришлось тебя взять, когда Ён Сим погибла при крушении поезда в Хесане. Папа сказал, что мы должны растить тебя как свою. Я боялась такой большой перемены в нашей жизни — ни с того ни с сего стать родителями. Сомневалась, что смогу полюбить ту, что попала к нам по воле случая, а не по нашему желанию. А еще нам пришлось переехать из Пхеньяна в Хесан, где Ён Мин заодно перенял у покойной сестры должность руководителя партийного предприятия по торговле с Китаем.

Любви с первого взгляда не случилось: наша связь укреплялась понемногу. Это как учиться говорить на чужом языке. Чем больше учишься, тем больше втягиваешься и тем больше получаешь удовольствия. Как и с новым языком, тут требуется много практики и терпения. Любовь растет потихоньку, с каждой спетой колыбельной, с каждой устроенной и успокоенной истерикой, с каждой ложкой каши — проглоченной или выплюнутой. Но вознаграждение застало меня врасплох: момент, когда ты впервые назвала меня мамой; мой портрет в подарок с подписью «Мой лучший товарисч»; внезапные удушающие объятия и сонные «я тебя люблю» на ночь, без всяких причин. Я в жизни не видела такого ранимого и в то же время такого открытого существа, готового безоговорочно любить и доверять.

Я вела себя как любящая мать — и в итоге стала любящей матерью.

А осознала я эту любовь с теми твоими словами: «Как папа целует маму». С твоим нежным поцелуем, с твоими крошечными пухлыми пальчиками у меня на лице.

Твой папа был полной моей противоположностью в любви. Он был как ребенок: прирожденный даритель, готовый отдать все — с ходу. Ему,

как ребенку, хватало смелости на ранимость и открытость. Так он любил меня, так же любил и тебя. Словно по щелчку выключателя, как только ты появилась в нашей жизни: любовь стояла в его глазах, уже когда он увидел тебя в первый раз. Он был носителем этого языка — ему учиться не пришлось.

Он вдвое старше меня. Но с нашей первой же встречи он говорил и слушал так, будто я его самый главный учитель. Это скромный человек с благородными речами. Романтик, не боявшийся даже держать жену за руку на людях и каждое утро говорить: «Я тебя люблю». Если речь шла о семье, он готов был отдать все: переехать в Хесан значило отказаться от привилегированной жизни пхеньянского портного, но он согласился без колебаний.

— Самое время для такого старика, — сказал он возбужденно, — найти новую цель в жизни.

В сравнении с работой известного портного, когда его график был забит встречами с партийными работниками, работа в хесанской торговле оказалась довольно простой. К тому же пхеньянские связи упрощали импорт и распределение зарубежных тканей для высшего класса, освобождая ему больше времени на семью.

Когда я уезжала на подготовку или задание, твой папа становился тебе и матерью, и отцом сразу. Причем из него-то мама получилась лучше, чем из меня. Сказать по правде, я поначалу даже ревновала. Наверное, так же себя чувствует старший ребенок, воображая, будто лишается своей монополии на любовь. А еще я ревновала к тебе: у меня никогда не было такого отца, такого детства, как у тебя. Мой отец не дарил ничего — он сеял боль, он жил чужим страданием, поэтому у меня и появилась темная сторона. Нечего удивляться, что меня так тянуло к твоему папе даже задолго до нашей встречи, благодаря одним только историям. Я хотела любить его и быть любимой. И втайне хотела его защищать. Знаешь, я чуть ли не каждый день говорила твоему папе, что я самая везучая женщина в Чосоне, раз мне достался такой муж. А в то же время думала, что это ему повезло со мной. Такому человеку, как твой папа, не выжить одному в этом безумном мире. Ему нужна была женщина вроде меня: и добрая, и злая, способная и на безграничную любовь, и на убийство, чтобы ее защитить. Женщина, которая говорит на языке безумцев.

— Расскажите о Сто тридцатом отделе связи, — просит господин Пак.

— Там меня готовили.

— Расскажите, как все устроено, госпожа Чой. Процесс подготовки.

— Вы же знаете, я не могу говорить за всех. У меня очень необычный случай.

— Мне интересно послушать еще раз. Пожалуйста.

Сегодня «пожалуйста» у Пака безжизненное, как искусственное растение, словно он иронизирует. Удивительно, насколько меня это задевает. Не становлюсь ли я жалкой жертвой стокгольмского синдрома? Я так долго просидела взаперти, общаясь лишь с одним человеком. Но я не даю себе увлечься негативными мыслями об этом своем единственном союзнике. Может, он сегодня просто устал. Может, ему хочется домой, к жене и детям, развалиться на диване и смотреть телевизор, забыв о работе.

— В моем случае все началось с пытки. За мной какое-то время следили. Обо мне уже доносили, я вызывала большие подозрения. Десять лет отсутствовала, внезапно вернулась. Знание иностранных языков опять же. Меня приняли за шпионку с Юга или из Японии. Потом я, к своему потрясению, узнала, что среди доносчиков значился и господин Син — молодой подмастерье

моего мужа в Пхеньяне. Как выяснилось, заодно он работал осведомителем тайной полиции. Его главной задачей было подслушивать разговоры партийных кадров с моим мужем. Меня удивило, что даже власти предержащие не свободны от наблюдения. Хоть мне всегда казалось, что товарищ Син пристально следит за нами, за мной с мужем, я списывала все на его зависть. Думала, он просто завидует такой влюбленной и счастливой паре. — Я вздыхаю. Не могу удержаться и от того, чтобы фыркнуть. Из-за своей же глупости.

— Возможно, не без этого, — произносит Пак шепотом, опустив глаза, будто разговаривает сам с собой. Потом поднимает взгляд: — Продолжайте. — Снова сухо.

— На мне живого места не оставили. Я рассказала всю правду, но сначала мне не верили. Наверное, не это ожидали услышать. Они не сразу сообразили, что происходит. Не сразу осознали нелепую истину.

— Истину?

— Что я не шпионка, а притворщица.

Пак молча смотрит на меня.

— Что я не Ён Маль — не та девушка, которая десять лет назад вышла за Ён Мина, моего мужа, а потом внезапно пропала. Настоящую Ён Маль

я встретила на станции утешения в Семаранге, в Индонезии. Это только одна из станций, что были у Японской империи во время Второй мировой войны. Нас с Ён Маль и десятки других кореянок похитили, чтобы привези в Семаранг и сделать женщинами для утешения. Так они называли секс-рабынь. Там я выучила японский. На станции все говорили, что мы с ней вылитые сестры. Мы стали хорошими подругами, я и Ён Маль. Она любила поговорить. А я ее за это любила. Она рассказывала о жизни в Корее. О семье, о родном городе, о недавней свадьбе. О своем муже. Я любила ее — и завидовала ей. Ён Маль погибла на станции, от туберкулеза. А я выжила. Я вернулась в Корею. Я потеряла свою семью — мать и младшую сестру. И тут мне в голову пришло найти семью Ён Маль. И я нашла. И стала Ён Маль. Стала женой мужа Ён Маль. *Моего* мужа.

— И вы блестяще играли роль.

— Да.

— Ваш муж так ничего и не заметил.

— Нет. — Я не сводила глаз с господина Пака. — Я мастер своего дела.

Начало августа. В Хесане снова на редкость жаркий день. Влажность распускалась под мышками, стекала по вискам. Я выбилась из сил. По

дороге на вокзал вы с папой видели два трупа. Вы приехали меня встречать. Я возвращалась из Пхеньяна — *из деловой поездки*. Я не видела тебя почти полгода.

На противоположном, южном конце платформы поднялась суматоха. Мать с маленьким сыном приехали без разрешения, их поймал полицейский в штатском. В последнее время все больше и больше людей шли на риск и незаконно переезжали с места на место в поисках еды, которая была в дефиците.

Молодой полицейский приказал отдать ему сверток, который женщина держала в руках. Она отказалась. Оторопевший полицейский выхватил пистолет, закричал на нее. И вдруг она набросилась всем телом, словно маленький хищный зверек. Я увидела, как позади нее убегает мальчик с тем самым свертком. Прогремел выстрел. На вокзале раздался резкий крик.

У меня в голове сработала тревога. Кровь побежала быстрее, сердце ушло в пятки. Но руки не дрогнули. Я не шевельнула ни мускулом. Мышцы лица расслабились. Даже возникла слабая улыбка. А скоро общему примеру последовало и сердце. В броне натренированного спокойствия я прошла мимо места происшествия.

Перед глазами показалось лицо твоего папы. Потом я услышала позади твой крик: «Мама!»

Папа кричал мое имя. Я разглядела ужас в его глазах.

Я обернулась. Увидела тебя на земле. В слезах. Половина твоего лица была желтой от мелкого песка. Из открытого рта бежала струйка крови.

Я бросилась к тебе и попыталась тебя поднять, но ты меня оттолкнула.

Подошел папа и обнял тебя. Утер тебе лицо рукавами. А потом вы оба посмотрели на меня. Глаза раненого щенка — полные отвращения.

В Сто тридцатом отделе связи меня учили изображать иностранку. Японку, китаянку, даже американку, если потребуется на задании. Освоить иностранные языки еще мало: там учат отказываться от родного, не выдавать себя реакцией на него. Мне пришлось месяцами жить и видеть сны на чужих языках, только чужими словами говорить или скрывать, что у меня на уме. И каждый раз, когда я оборачивалась или хотя бы косилась из-за вопроса на северокорейском, меня наказывали. «Товарищ! Эй! Вы! Эгей! Прошу прощения! Берегись! Помогите!» И один конкретный оклик, от которого мне пришлось отучиваться дольше всего: «Мама!»

В конце концов подготовка окупилась. Когда на вокзале раздался выстрел, ты побежала ко мне раскинув руки, с криком «Мама!». Ты хотела меня защитить. Хотела, чтобы со мной все было хорошо. Хотела меня спасти, хотела, чтобы и я спасла тебя.

Но я прошла мимо, будто ты невидимка. Тогда ты оторопело замерла. На стрельбу примчалось стадо солдат. Зеваки разбежались, как перепуганные кролики. Тебя толкнули, и ты упала прямо лицом вниз. Подняла голову, в крови, и кричала «Мама!», пока не охрипла.

— Почему они передумали и решили взять вас на службу?

— Все началось, когда я рассказала, как выучила английский. А я учила его в детстве, у канадского миссионера, который управлял спичечной фабрикой в моей родной северокорейской деревне. Позже я усовершенствовала язык, когда во время Корейской войны работала на американских солдат.

— Чем именно вы занимались у американцев?

Кажется, голос Пака чуть дрогнул на «чем именно». Как на него непохоже.

— Я была переводчицей у кореянок и американских военных в так называемом Обезьяньем

доме. Это заведение в духе станции утешения. Только подставьте вместо японцев американцев, а вместо Второй мировой войны — Корейскую. — Я замолкаю.

Глаза Пака становятся щелочками.

— Как вы согласились работать в Обезьяньем доме? В таком же месте, как то, где вас раньше держали как рабыню.

— Я не знала, куда меня везут. Я притворялась мальчишкой и пыталась в одиночку пережить войну. В Пусане я попросила работу у американских солдат, сказала, что хорошо говорю по-английски. Я голодала, мне было негде спать.

Мой взгляд поднимается над головой Пака, останавливается на окошке под потолком. Крошечный квадратный проем, который на самом деле и не проем, а только видимость. Проникнуть через него может только солнечный свет, и то с трудом. Двойная рама, закаленное стекло. Стальная решетка; скорее похоже на большой слив, чем на маленькое оконце. Шум не проникает ни внутрь, ни наружу.

— Сосредоточьтесь, госпожа Чой, у нас мало времени, — просит Пак. — Расскажите, почему в ГБР передумали.

— После того как узнали, что я сделала с Обезья-

ньим домом. — При мысли о Генеральном бюро разведки, северокорейском разведуправлении, мои глаза опять вскидываются к решетке, к окну. И я их закрываю: «Сосредоточься». — Я его сожгла. Дом. А потом сбежала обратно на Север.

— Почему вам поверили? — не унимается Пак.

— Я же говорила, мне и не поверили. Потом проверили и нашли отчеты о деле, совпадавшем с моей версией. Сгорел военный объект американцев под Пусаном, а с ним несколько солдат. Юный сирота, работавший переводчиком, пропал без вести. Оказалось, на Юге меня приняли за шпионку с Севера. Союзные войска объявили меня в розыск. Назвали террористом. Партизаном. На Севере это сразу делало из меня героиню. Они тут же передумали. Они хотели, чтобы я стала шпионкой официально. Для них лучше не придумаешь: я была практически готовым агентом, не нуждалась в обучении. Знала иностранные языки, умела выживать в невозможных ситуациях, умела обманывать и выдавать себя за других. Уже один раз успешно украла чужую личность. В ГБР не могли упустить такой шанс. И *мне сделали предложение, от которого я не могла отказаться*. — Последние слова я произношу напускным хрипловатым тенором. Попытка пошутить для

бедного Пака, у которого явно был не лучший денек. Но он пропускает шутку мимо ушей. В последнее время он все мрачнее. И я не могу не гадать, на руку мне это или нет. Они уже готовы вынести решение? От этой мысли у меня затрепетал пульс.

— Мою подготовку сократили до минимума. Даже позволили и дальше помогать мужу заниматься импортом-экспортом с китайцами. Они решили, работа в торговле будет мне хорошим подспорьем в шпионаже: позволит легче пересекать границы и вступать в контакт с иностранцами. И прежде всего пообещали, что если я буду работать на них, то мой секрет никто не узнает. На самом деле они имели в виду, что если я откажусь, то меня разоблачат перед любимым мужем. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться и стать их шпионкой.

— Девушки, — бормочет господин Пак.

Я наблюдаю, как двигается его кадык.

— Прошу прощения? — переспрашиваю я. Слышу, как за оконцем начинает стучать дождь. Как вовремя.

— Девушки, госпожа Чой. Те кореянки из Обезьяньего дома. Что случилось с ними, когда вы его сожгли?

Первый день подготовки в Сто тридцатом.

Меня и десяток других курсантов посадили в автобус с закрытыми окнами. Бронированный, на самом деле скорее помесь автобуса и танка. Узкие полоски окон — черные, как солнечные очки. Но нам все равно надели повязки на глаза. Внутри пахло едкой смазкой. Транспортер медленно тронулся. Вдруг раздался тяжелый холодный лязг, и мы навострили уши. Я почувствовала покалывание в пальцах рук и ног. Определить, кто где находится, можно было только по дыханию. Потом я снова услышала резкий грохот, протяженный, и в этот раз за ним последовало эхо. Это закрылись ворота. И транспорт начал спускаться.

Казалось, мы ехали целый час, погружаясь в глубину на десяток километров. Но я напомнила себе, что в темноте время обманывает, становится коварным, скользким, как мыло, — не ухватишь. Когда ты незрячая, порой другие чувства растягиваются и искажаются, как ириска. Я к этому привыкла, пережив две войны в сумраке плена.

Когда металлический шум движения наконец утих вместе с человеческой возней, я обнаружила, что меня обложил серый запах. Запах цементной мостовой под дождем, домашний и затхлый;

запах подвала с заплесневелыми книгами в шкафах. Ассоциации не назвать неприятными. Но меня охватил сознательный страх. Вынуждал гадать, где под Пхеньяном может быть этот исполинский подземный мир. Пока нас вели в темноте, я прислушивалась к гулкому стуку шагов и думала. На ум пришло бомбоубежище. Приходили на ум и другие места, представлять которые не хотелось, например центр перевоспитания или трудовой лагерь — эти разновидности рабства. Когда с нас сняли повязки, мы на миг ослепли. Нежный бордовый оттенок, свет, сочившийся через сложенную черную ткань, взорвался белым, и некоторые курсанты всхлипнули, как котята.

Передо мной раскинулась освещенная улица Мёндон — самый большой торговый район в южнокорейском Сеуле. Свет пылал так, что я даже отпрянула; во рту пересохло, появился соленый привкус. Большие витрины по сторонам бесконечно отражали яркое освещение, оно множилось во всех направлениях, не оставляя ни единого темного закоулка. На манекенах за витринами была современная западная одежда, как и на пешеходах, бродивших в выцветших голубых джинсах, цветастых футболках с мод-

ными англоязычными логотипами, в кроссовках «Найки», черных очках, мини-юбках, туфлях на шпильках, с кроваво-красной помадой. Все до единого запрещено Партией, показаться на улице в таком виде — прямая дорога в лагерь. Особенно с кроваво-красной помадой. В последний раз я видела такую на хесанском вокзале. Голод сделал из матерей проституток. Стайка девушек с низким сонбуном[25] решила торговать телом, чтобы не потерять детей, братьев или сестер. Поскольку проституция считалась тяжелым преступлением, им не оставалось другого способа искать клиентов, кроме как робко поглядывать на прохожих в районе вокзала, обведя губы красной помадой — такова была их алая буква[26].

А по соседству с Мендоном была Осака. Снова мое поле зрения заполнили неоновые вывески, но уже в Дотонбори. Даже когда я закрыла глаза, яркие огни плыли у меня в мыслях. Там уже стоял,

---

[25] Примечания: 25

Сонбун — система личного статуса в КНДР, основанная на политическом, социальном и экономическом положении родителей и родственников. Определяет социальные возможности человека. Система появилась в 1957 году, в дальнейшем претерпевала разные изменения в своей сути и значении.

[26] Примечания: 26

В XIX веке в США для обозначения изменщиц им на одежду нашивалась алая буква «А». Этот факт лег в основу важного романа в западном литературном каноне «Алая буква» (1850) Натаниэля Готорна.

воздев в приветствии руки, гигантский Бегущий человек[27], такой же сюрреалистический и захватывающий дух, как двадцатиметровая бронзовая статуя Ким Ир Сена в Мансудэ. Напротив Осаки — Пятый округ Парижа, даже с миниатюрным Люксембургским садом и кусочками Латинского квартала, где хмельные студенты — буржуазная богема, которой наскучила привилегированная западная жизнь, — все еще дрочили на идею коммунизма.

Этот подземный мир глубоко под Пхеньяном был симулякром мира. Гиперреальным тематическим парком — или головокружительным тренировочным полигоном, где из лучших студентов пхеньянского Университета иностранных языков делали секретных агентов Корейской Народно-Демократической Республики.

Чаще всего я рано завтракала в Париже с Амандин — пухлой француженкой средних лет, похищенной в Париже в начале семидесятых, с ней я практиковала свой бытовой французский; обедала в Осаке с Юки — скромной девушкой, похищенной в двенадцать лет на берегу пре-

[27] Примечания: 27

Имеется в виду логотип кондитерской компании Glico, установленный в районе Дотонбори в 1935 году.

фектуры Ниигата[28], — чтобы усвоить японский сленг и старые поговорки; ужин проходил в Вашингтоне с Малкольмом, плечистым американским дезертиром родом из Хантсвилла, штат Алабама, который переметнулся на Север еще во время Корейской войны после того, как случайно убил взводного сержанта в пьяной драке, — он помогал мне освежить знания американской истории и английский военный лексикон[29].

По вечерам меня часто учили быть южнокореянкой. Я училась говорить, есть, улыбаться, ходить и думать как южнокореянка. (И в этом тяжелом процессе осознала, какая пропасть уже выросла между Севером и Югом.) За ошибкой неизменно следовало наказание. К счастью, я схватывала на лету. Через пару месяцев после

---

[28] Примечания: 28

Имеется в виду программа похищений Северной Кореи в Японии «1977–1983». Японское правительство признает похищение семнадцати своих граждан, хотя их могло быть больше. Большинству похищенных было около двадцати, самая младшая — Мегуми Йокота, похищенная из Ниигаты. Жертвы затем либо обучали шпионов, либо становились женами японских перебежчиков; также их личности использовались в шпионских целях.

Сам факт похищений долгое время отрицался и считался теорией заговора, тогда как в Японии им пользовались в своих целях ультраправые элементы, призывая к милитаризации страны.

В 2002 году в попытках нормализовать отношения Северная Корея признала факт похищений и на время вернула пятерых человек в Японию, но вместо нормализации она только спровоцировала международный скандал, дав повод правым течениям в Японии подтвердить свои

заявления; похищенные не были возвращены и остались в Японии. Известны малочисленные похищения из Европы и с Ближнего Востока в конце 70-х, но чаще они остаются неподтвержденными и неизвестными (одна похищенная итальянка стала женой американского перебежчика). О них сообщалось со слов других похищенных, рассказывавших о лагерях; так, считается, что были похищены как минимум три итальянки, три француженки и две голландки.

[29] Примечания: 29

После завершения Корейской войны в КНДР остался 21 американский солдат (как перебежчики, так и военнопленные, которые решили не возвращаться). В основном — по политическим убеждениям, ни один — ради бегства от трибунала (хотя в 1965-м Чарльз Дженкинс напился пива, чтобы набраться смелости перед побегом в КНДР, — в дальнейшем он женился на похищенной японке, а потом переехал с ней жить в Японию. Трэвис Кинг в 2023-м сбежал в Корею, когда ему грозило увольнение с позором, но Корея выдала его обратно американским властям). Подавляющее большинство перебежчиков либо поселились в Китае, либо вернулись в США, где многие писали книги о своем пребывании в Корее.

прибытия, когда меня будили посреди ночи, я могла в ответ спросонья пожаловаться с идеальным южнокорейским акцентом.

Впервые оказавшись в Сто тридцатом, глядя на сияющий Мёндон в Сеуле, я вспомнила твою бабушку. Мою маму, которую считала давно погибшей. Я зарыла воспоминания о ней, как и о войне, намного глубже сознательных мыслей. Она была родом из Сеула и тепло делилась своими детскими воспоминаниями о столице, украшенной театрами и библиотеками, уличными рынками и мороженым. Выйдя за моего отца, она переехала в северную деревню, где и родила меня, отрезанная от городской жизни, которую так любила. Я гадала, что бы она сказала, если бы увидела этого потустороннего доппельгангера ее родины, эту тайную иронию в самом сердце Севера. Гадала, что бы она почувствовала.

Как сейчас я гадаю о твоей первой реакции, когда ты оказалась в Сто тридцатом.

Наверняка это был полный восторг, а вовсе не страх или растерянность. И наверняка тебе хватило смекалки скрыть возбуждение.

— По выходным мы выполняли различные задания Сто тридцатого отдела в Сеуле. Ежедневные дела, которыми занимаются только

сторонники капитализма. Все, что связано с банками: открытие счета, денежный перевод, обновление банковской книжки. Легче — и интереснее — были задания что-нибудь купить или взять фильм напрокат. Коренные южнокорейцы, в основном похищенные рядом с демилитаризованной зоной, играли роли пешеходов, банковских клерков, продавцов в магазинах, учили нас жестикуляции и поправляли произношение и интонацию.

— Их имена?

— Им, конечно, давали фальшивые. Но вы их легко опознаете по моим описаниям, причем я вполне уверена, что вы это уже сделали. — Я поднимаю взгляд.

Пак быстро отворачивается. Проблеск чувства вины. Хочется ему сказать, что ни к чему мучиться от раскаяния — мы все здесь просто делаем свою работу. Вместо этого застаю его врасплох — удар вопросом. Импровизация. Короткий путь.

— Как насчет других имен? — нагло спрашиваю я.

— Каких?

Я улыбаюсь. Попался. И я знаю, что он это знает. Его губы складываются в маленькую «о».

— Господин Пак, я просто спрашиваю, готовы

ли мне доверять ваши начальники. — Я смотрю направо и буравлю взглядом большое серое зеркало, занимающее почти полстены: зеркало, которое с другой стороны является окном.

Пак делает глубокий вдох. Потом смотрит мне прямо в глаза. Словно просит продолжать.

— Готовы ли они выслушать имена, которые я пришла раскрыть, господин Пак. Список агентов Севера, таких же, как я, которые работают под прикрытием здесь, в Южной Корее.

Я думала, ты никогда меня не простишь за то, что я пропадаю в частых и долгих разъездах.

Но ты умная, любящая и быстро превратила обиду во что-то другое.

В два года с половиной ты сказала, что выйдешь замуж за папу, в восемь объявила, что, когда вырастешь, хочешь быть как я.

— Я буду предпринимательницей, как ты, мам, — сказала ты мне своим строгим голосом, наигранным, которым любила привлекать наше внимание.

Я спросила, знаешь ли ты, что нужно для моей работы. Ты ответила, что у меня классная работа. Надо носить классную одежду и путешествовать по всему миру, который нельзя видеть остальным.

Я одновременно и улыбнулась, и вздохнула. И заметила, что предпринимательницами могут стать только очень умные девочки.

— Хорошо учись в школе, милая, — сказала я, — особенно иностранным языкам. В бизнесе это инструменты, которые помогают добиться на переговорах своего.

Ты была усердной ученицей, я — несдержанной учительницей. Благодаря голодной страсти, присущей только детскому разуму, как у тебя тогда, ты впитывала все лингвистические познания, что я передавала. И всегда, щебеча, просила еще. Даже сама начала устанавливать новые правила: «английские выходные», «китайская пятница», «японский август». Я никогда не учила тебя южнокорейскому акценту, но догадалась, что ты и так уже с ним заигрывала, как самые крутые подростки твоего поколения, которые тайком смотрели и распространяли южнокорейские телесериалы.

Я учила тебя всему этому, чтобы ты стала предпринимательницей. Не такой, как я, с двойной жизнью, тайной работой, а настоящей, которая наслаждается своим успехом при свете дня. Я думала, из тебя даже может получиться дипломатка, — а почему нет? Я хотела, чтобы ты стала

образцовой элитой, которой мне так и не выпало случая стать. Я хотела, чтобы ты прошла по всему Шелковому пути.

И когда узнала, что тебя приняли в Университет иностранных языков, я расплакалась. Как же я тобой гордилась. Не буду врать, во многом мой восторг был опосредованным: твоя успеваемость была для меня тем, чего не смогла достичь я сама.

Какое-то время мне нравилось быть бесстыжей снобкой.

Он стоит положив руки на бедра. Спиной ко мне. Я слышу, как он вздыхает, мучительно медленно, дважды.

Никогда не видела от Пака такой театральщины. Впрочем, это не так уж неожиданно. Остается только ждать, когда Пак первым нарушит тишину.

— Почему вы хотите сделать своего единственного союзника врагом? — спрашивает он. Голос у него изможденный. Он кладет на стол листок, прямо мне под нос.

— Не нравится мой список?

— Хватит игр, госпожа Чой, — рявкает он. Его правая рука на столе стискивается в кулак. — Начать с того, что это даже не список, госпожа Чой.

Это только одно имя. А как же остальные, что вы нам обещали? Все известные вам имена секретных агентов ГБР, орудующих в Южной Корее?

— Я так и не узнала их настоящие имена. Только оперативные псевдонимы.

— Скажите, госпожа Чой, и я должен поверить вашей брехне, не поведя и бровью?

— Вы меня точно слушали, господин Пак? Я разве не сказала, что моя страна — это страна шпионов? В школе, едва научишься скакать на скакалке, уже учат не доверять и доносить — даже на родную семью. Я разве не сказала, что даже власти находятся под постоянным наблюдением? Единственный свободный человек на Севере — Ким Чен Ир. Они никому не доверяют и не хотят, чтобы мы доверяли друг другу. Они считают, что среди нас всегда есть двойные агенты. И я вам в последний раз повторяю: я говорю правду. Я не знаю их настоящих имен.

— Тогда вы нам не нужны.

— Неправда. Я могу дать известные мне псевдонимы, рассказать об их заданиях, описать телосложение и лица. Дальше накопаете сами. Уже накопали.

Я вижу, как чуть расслабляется его кулак. Как он стреляет глазами по сторонам. Снова глубокий

выдох.

— Но это единственное имя в списке. Оно настоящее, — произносит Пак. Утверждение, а не вопрос.

— Да.

— Что-то не сходится, не находите, госпожа Чой? — Он снова сверлит меня взглядом, склонив голову набок, как ворон.

Я остаюсь начеку. Молчу. Он издает нечто среднее между вздохом и сдавленным смешком.

— Чой Ми Хи. Что-то знакомое, да?

В жизни каждой матери наступает время, когда она понимает, что не может управлять жизнью ребенка. Чем старше дитя, тем чаще мать повторяет себе эту истину, как мантру, чтобы спастись от страхов и разочарований. Но в глубине души слепая вера в свою власть над ребенком так и остается, словно капли на паутине после бури, держится за слабый родительский мираж, будто она еще может спасти ребенка, может наставить на путь истинный, направить к тому, чем ему суждено быть.

Я думала, я не как все матери. В отличие от остальных, я не читала тебе нотации, чтобы ты не делала ничего опасного. Всегда знала, что ты будешь испытывать рамки на прочность. Тебе же

все-таки досталось мое упрямство. Нет, вместо этого я учила тебя не попадаться. «Не попалась — не сжульничала» — вот был наш тайный девиз. И ты воплощала его с удивительной легкостью.

Тебе нравилась студенческая жизнь в Пхеньяне, но не стоило недооценивать тайную полицию. Они могли подкрасться, когда меньше всего этого ждешь. Время от времени проводили спонтанный осмотр общежитий. И тех, кого застали с крамольной контрабандой, ждал расстрел. В прошлом году ты видела, как прострелили голову троим твоим однокашникам. Обычная публичная казнь в кампусе, при свете дня. Тела бросили гнить в открытой яме на несколько дней, чтобы все помнили о том, что бывает, когда обманываешь Партию. Но уже через пару недель жизнь вернулась в обычную колею.

В ту ночь в твоей постели был смертоносный любовник.

Ты смотрела сопливую южнокорейскую драму, где вопреки всему расцветает любовь лихого сы-

на чеболя[30] и неказистой нищей девушки. (Как всегда и бывает, да?) Ты взяла кассету у товарища из класса английского — он неплохо зарабатывал на том, что записывал и распространял незаконные материалы. Вы с друзьями звали его Монах.

Среди ночи тайная полиция начала с того, что отрезала электричество во всем здании. Они нанесли внезапный визит в каждую квартиру. Первым делом искали видеопроигрыватель и клали на него руку. Если чувствовали тепло, то снова подрубали электричество и включали, чтобы узнать, что на кассете. Если она разрешенная, с обычной пропагандой об эскападах семейства Ким, ты свободен. Но сама мысль о том, что подросток смотрел пропаганду после полуночи для развлечения… Уж скорее найдешь Будду в борделе.

А если на кассете что-то грязное, тебе крышка. Без электричества ее уже не достанешь и не спрячешь. Попытаешься выдернуть силой — и она всюду рассыплет свои блестящие коричне-

---

[30] Примечания: 30

Чеболь (*кор.* «богатая семья») — южнокорейская форма финансово-промышленных групп (среди них такие группы, как Samsung, LG и т. д.). Стали важным явлением с 1961 года, в рамках быстрой индустриализации страны, когда чеболи обрели практически неограниченную власть и финансирование. С тех пор политическая жизнь в Корее характеризовалась борьбой между чеболями или с их коррупционным влиянием в целом.

вые кишки, явное доказательство твоей измены. Даже если волшебным образом добудешь кассету невредимой, тебе все равно крышка. Они же первым делом трогают видеопроигрыватель, не забыла? Они уже знают, что он теплый. Знают, что ты что-то смотрела, что-то спрятала. Понимаешь? Выхода нет.

Это и стало участью Монаха. Бедняга. Он попался, и его казнили меньше чем через две недели. Ему было девятнадцать. Но они заявили, что его преступление слишком гнусное — он не просто совершил мыслепреступление, но и распространял его. Из-за того же обвинения начинили пулями или отправили в трудовые лагеря кое-кого еще из общежития[31].

Но ты, Ми Хи, вышла чистенькой. Тебя и паль-

---

[31] Примечания: 31

Разумеется, в КНДР не расстреливают за просмотр южнокорейских сериалов. Один из источников этого слуха — скандально известная беженка Ёнми Пак, сбежавшая из Хесана в 2007 году и сделавшая на Западе карьеру благодаря историям о режиме, которые многократно опровергались или подвергались сомнению, часто из-за ее же противоречий. Другие беженцы из той же области утверждали, что там уже давно не было казней в принципе. Однако за просмотр запрещенных материалов действительно могут грозить исправительные работы или тюремное заключение; судя по имеющимся разрозненным новостям, казнить могли высших руководителей, распространявших южнокорейские контрабандные материалы, главным образом — порнографию, находящуюся в одной категории с проституцией.

Главным образом новости из КНДР искажаются и раздуваются как южнокорейским правительством (ради сплочения народа), так и

некоммерческими организациями по защите прав (ради получения спонсирования) и неразборчивыми СМИ (ради сенсационности), поэтому определять истинность тех или иных преувеличенных заявлений об и без того тяжелой жизни в КНДР исторически сложно.

цем не тронули.

Ты-то знала: «Не попалась — не сжульничала». Ты всегда ожидала рассветную облаву. И у тебя всегда были наготове два видака. Та ночь — не исключение. Ты включила их одновременно, но с двумя разными кассетами: на одной расхваливали блестящую жизнь нашего собственного Большого брата, а на другой ворковали южнокорейскую песню о несчастной любви. Оба видака работали, оба корпуса нагревались, но смотрела ты только второй. Первый, конечно, даже к телевизору подключен не был.

Когда тайная полиция обрубила электричество, все заметались в панике. Но ты сохраняла спокойствие. Тебе оставалось только спрятать видеопроигрыватель с южнокорейской романтикой в шкаф и подключить к телевизору второй. Хватило минуты.

А ровно через полторы минуты после отключения электричества к тебе в комнату вломились агенты. Положили руку на видеопроигрыватель и почувствовали тепло. Включили электричество, проиграли кассету. Увидели благожелательную улыбку Ким Чен Ира на весь экран и тысячи людей, что рыдали и ликовали по мановению его пальцев. Все идеально. Все как положено.

Когда все думали, что выхода нет, ты находила лазейку. Щелочку. Брешь в крепостной стене, которую больше никто не приметил.

И когда ты мне об этом рассказывала, я заметила, как блестят твои глаза. Так же, как на первом уроке английского, когда ты охрипшим от возбуждения голосом зачитывала алфавит, но ярче, страшнее. Тогда я и поняла, что ты вырвалась из-под контроля.

И тогда же у тебя появилась странная внутренняя ухмылка. Новые секреты, которыми со мной уже не делилась.

Я дала правильное топливо, и теперь ты ярко пылала сама по себе. И не мне было это останавливать.

Ты, как и я, плутовка. Но уже не столько ради выживания, сколько ради развлечения. У тебя это было не в крови, а на языке и под языком, вокруг глаз, что всегда смотрели на меня. Это была моя любовь. Это было мое тщеславие.

— А в нашем обществе единственный путь для таких людей — тайная полиция. Ми Хи была классическим новобранцем. В досье она указывалась как квасная революционерка, одержимая пропагандистскими фильмами про верховного вождя. Еще она отличилась в Университете

иностранных языков, в совершенстве владела несколькими. Что тут удивительного. Она всему училась у лучшей. В конце концов, сменять личности — все равно что говорить на разных языках. Когда учишь иностранный, ты не просто запоминаешь слова. Вместе с этим усваиваешь настроения и привычки, общую культуру людей, которые говорят на нем без подготовки. Когда начинаешь чувствовать, что покорила язык, он покоряет и тебя — как по волшебству. Можно по щелчку пальцев стать незнакомкой. Войти в новый образ. Проникнуть в чужую историю, даже не замечая этого.

Тут я замолкаю, чтобы перевести дыхание. И замечаю, что говорю как по писаному. Как будто произношу речь. Паку это должно понравиться — он большой ценитель метких и взвешенных слов. Я вглядываюсь в его лицо. И вижу, что мои слова его покорили. По крайней мере, пока.

— Однажды вы спросили о девушках. О кореянках в Обезьяньем доме во время Корейской войны. Спросили, что с ними случилось, когда я сожгла Дом. Если честно, я не знаю. С тех пор я ничего о них не слышала. Но одно могу сказать наверняка: я пыталась спасти всех. В день, когда я уничтожила Дом, проходил ежемесячный

медосмотр и девушек везли на большом военном грузовике в город. В то утро, сажая их в кузов, я тайком сунула одной в карман пистолет, украденный у охранника. Я завязала веревки на руках так, чтобы их можно было распустить, лишь чуть потянув. Я велела им освободиться, когда грузовик замедлится на петляющем серпантине, прострелить голову водителю и бежать в лес. Не знаю, получилось у них или нет. Остается только надеяться, что да. Хоть у кого-то. Сейчас я хочу сделать что-то в этом духе. Пытаюсь спастись, подарив второй шанс и себе, и своей дочери. Я заслуживаю второй шанс. Я прошла через ад и воду. Вы уже должны понимать, что мне плевать на идеологию, как и моей дочери. Я просто пыталась сделать что могла из того дерьма, которым меня заливала жизнь. Но в этот раз мне не помешает помощь. Я не мошенница и не прошу помочь бесплатно. Вы поможете мне, я помогу вам. От нас с дочерью вы узнаете о внутреннем устройстве ГБР больше, чем от кого-либо еще, особенно от этих

подобий шпионов, которых ловит ваше КЦРУ[32]. Мне всего-то нужно, чтобы нас с дочерью приняли в страну и полный иммунитет в обмен на бесценные данные о ГБР, которые мы собрали. Разумеется, в полной секретности — никаких СМИ, ведь если в ГБР узнают о нашем бегстве, они обязательно как можно быстрее сменят все тайные коды, все секретные методы работы. Как только вы с вашим начальством согласитесь на наши условия и гарантируете безопасность, я привлеку к делу дочь. Она еще ценнее меня. У нее свежие воспоминания, самые новые данные.

Снова между нами тянется молчание. Дольше, чем раньше. Но уже не холодное, не резкое. А теплое и покалывающее, похожее на головокружение. Ему нужно время, чтобы все осмыслить.

---

[32] Примечания: 32

КЦРУ — Корейское центральное разведывательное управление (Korean Central Intelligence Agency (KCIA)), основанное в 1961 году. Обладало огромными полномочиями и властью, влияло на решения в политике и на финансовых рынках, было замешано в крупном скандале со взятками сенаторам США; в конечном счете в 1979 году его директор убил президента Пак Чон Хи, после чего агентство подверглось чисткам и в 1981-м сменило название на Агентство планирования национальной безопасности.

Фактически в деятельности агентства ничего не изменилось, оно оставалось огромным неподотчетным аппаратом, влиявшим на политику и преследовавшим инакомыслящих, и только в 1994-м его полномочия, огромный штат в 60 тысяч человек и крупный бюджет значительно урезали, а в 1998-м дали текущее название: Национальная разведывательная служба (National Intelligence Service NIS).

И я не мешаю. Я и так протянула ему рукоятку ножа, и он не может удержаться от того, чтобы не схватиться.

— Я не понимаю.

Я вижу, как в его моргающих глазах мелькает миллион вопросов.

Он поворачивается к широкому серому зеркалу, словно просит поддержки или согласия.

— Для начала, каким образом вы оставались на связи с дочерью, госпожа Чой? Вы сами говорили, всегда есть наблюдение, кто-то всегда цензурирует переписку агентов. Вы не можете разгласить детали своей миссии другому агенту, если только он не работает вместе с вами.

Я снова прячу улыбку.

— Самый простой метод, господин Пак. Это придумала Ми Хи. Как я сказала, она умеет находить трещинки там, куда не смотрят другие. В разгар разработки всяких современных технологий для холодной войны мы выбрали самый архаичный способ связи. Письма. Рукописные. Она обожала их сочинять. Как правило, всегда есть тайный агент, который их перехватывает и находит каждое слово, способное скомпрометировать ГБР. Ми Хи была осторожна, но всякий раз, когда ее письма попадали ко мне, пара слов в них оказывалась

вычеркнута или вымарана. Вот только, конечно, она нарочно совершала мелкие ошибки. Маленькие приманки. Прямо как когда придумывала небольшие прегрешения для уроков «очищения жизни», чтобы учителя остались довольны. Затем она заполняла страницы безобидными и скучными историями из жизни, которыми хотела со мной поделиться. Я обожала их читать. А все запрещенное — в основном о миссиях и планах на будущее — она писала внутри конвертов. Манильских конвертов горчичного цвета. Самых обычных, какие можно найти в любом офисе. Она их вскрывала, разворачивала и записывала тайное послание на внутренней стороне огарком свечи. Длинной, которую удобно держать в руке. У нас их много дома, ведь в Северной Корее часто отключают электричество. Изначально свечи белые, но после долгого хранения слегка желают. И этот цвет замечательно сливается с цветом манильских конвертов. Даже вплотную ничего не видно. Мне оставалось их только смочить, обмахнуть темной акварельной кисточкой — и восковой крамольный текст проявлялся и говорил за себя.

Теперь пришел мой черед сделать глубокий вдох — от усталости, от удовлетворения.

Тут я замечаю, что мое сердце бьется чуть быстрее. Старые часы, которые все чаще и чаще звенят не вовремя.

К счастью, я умею его успокоить: обмануть так, чтобы оно почувствовало себя в своей тарелке.

Я беру в руку единственное, что мне разрешается брать в этой каморке: желтый восковой карандаш, обернутый в полоски бумаги. Что-то среднее между карандашом и мелком. Кладу между указательным и средним пальцами, потираю о сустав второго — на английском это называют «подставка писателя», — как будто я пишу. На плечи приятно ложится знакомая тяжесть спокойствия, и я снова чувствую себя заземленной и цельной, как слова на бумаге.

Седьмая жизнь

Признания обычного брака (*2006*)

РУССО

Однажды Эме Адель сказал, что брак — это путешествие от незаурядного к заурядному.

Постоянный, капля за каплей, процесс открытия того, что некогда казавшееся особенным является лишь посредственностью. Почти так же мама рассказывала о финале отношений с моим отцом: все, что раньше в нем представлялось ей оригинальным и волнующим, оказалось звоночками — он был самым обычным бабником. «Печальная, жалкая банальность», — сказала она.

То, как уверенно он попросил ее руки на первом же свидании. Как к третьему смело набил ее прозвище на бицепсе. Как на пятом ловко кружился с ней босиком в медленном танце на капоте его подержанного «кадиллака» под «Earth Angel (Will You Be Mine)».

Но все эти особые моменты принадлежали не ей одной. Оказалось, тот же сценарий отец разыгрывал и с другими, даже показывал татуировку

Mon Petit Chardonneret («Моя золотая рыбка») — как минимум четырежды. А последней из них была местная стриптизерша Ангела Дьябола. Когда мне было девять, отец бросил нас ради этой женщины со странным именем.

Вскоре после того, как нас оставил отец, меня оставил и Бог.

Я рос в религиозной семье. В молодости мои дедушка с бабушкой были миссионерами, каждое воскресенье мама водила меня в церковь. В детстве я верил в Библию буквально, как и большинство детей, растущих в строгом христианском окружении. Один из моих любимых стихов — от Матфея, 17:20: «Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Подобно Филипу из «Бремени страстей человеческих» Сомерсета Моэма, твердо верившему, что Бог исцелит его хромоту, я верил, что Бог вернет нам с мамой отца, если я буду молиться всей душой. Точно так же, как малыш Филип, я выбрал дату для Божьего чуда — и молился. Ожидание было волнующим. Я ничуть не сомневался, что Господь исполнит мое желание, потому что знал: единственное требование для

Его чуда — абсолютная вера в Его могущество. Даже капля сомнения зарубит благословение на корню. А поскольку моя вера была абсолютна, как и у Филипа, абсолютной была и обида месяц спустя, в утро запланированного чуда. В книге Филип так и остался хромым, а в моем детстве к нам так и не вернулся отец.

Моя буквальная вера в Бога быстро развеялась. Но вера в Церковь как сообщество продолжалась. Прихожане из церкви моих дедушки и бабушки помогали нам в трудные времена: часто навещали, чтобы помочь с продуктами, пока мама почти все время лежала в депрессии, не вставая в постели. Когда она поднялась на ноги и стала вкалывать на двойной смене, чтобы прокормить нас, меня часто приглашали в гости на ужин, чтобы я не оставался надолго наедине с грустными мыслями. Окруженный уютной поддержкой церковного сообщества, я чувствовал себя в неоплатном долгу за их доброту. А еще чувствовал, что в будущем обязан расплатиться — тем, что сам буду помогать другим. Не пропала и моя страсть к Библии: перестав видеть в ней источник истины, я обнаружил великое произведение искусства, богатое захватывающими и лихими сюжетами, важными уроками человече-

ской глупости. Я уже не верил во всемогущество Господа, но среди прихожан изображал хорошего христианина. Мне это давалось само собой. Я уже знал, как говорить на их языке, знал притчи из Библии и мелодии гимнов. И даже несмотря на тайную утрату веры, все еще любил молиться — эта привычка приносила утешение, когда подводило все остальное.

Я задавался вопросом: может, для обычных людей брак — то же, чем для меня была религия после ухода отца: общество, которое они терпят из-за привычки и верности; то, что еще долго дарит поддержку и утешение даже после того, как исчезли абсолютная вера и страсть? Если не волнующая, то хотя бы удовлетворительная константа. «Не самая плохая опора в жизни», — думал я.

Но мне не нравится считать нас — себя и мою жену — обычными людьми.

Я просеиваю память в поисках первой тонкой трещины в браке. Гадаю, когда мы стали видеть себя очередной обычной женатой парочкой вроде тех, кого раньше жалели. Вроде тех, кто в ресторанах смотрит в бездну над плечами друг друга, а не в лицо. Вроде тех, чьи натужные разговоры кончаются чередой вздохов. Вроде тех,

у кого взаимного интереса не хватает уже даже на ссоры. Вроде тех, кто не помнит, когда они в последний раз занимались сексом. Вроде тех, кого как будто скрепляет только ребенок.

Казалось, мир вокруг нас полон несчастными парами, и если мы с Сон Ми замечали особенно хмурую, то изображали грустные щенячьи мордашки и одними губами говорили друг другу: «Я тебя люблю». Настолько мы с ней упивались своим романтическим превосходством — с примесью чувства вины и все-таки (а может, поэтому) дурманящим. «Если я однажды стану такой же грустной угнетенной женой, *прострели мне башку*», — шептала она, преувеличивая свой северокорейский акцент, а потом разыгрывала смерть у меня в объятиях. Я ласково целовал ее в лоб, и тогда она оживала, чтобы как следует ответить долгим поцелуем в губы. Сон Ми умела удивлять: вроде бы тихая и задумчивая, но если ты с ней близок, вдруг ни с того ни с сего может стать воплощением дерзости.

Если ты правда ее понимаешь, знаешь.

Я думал, что единственный на свете знаю ее лучше всех, — пока не нашел ту простую, безжалостно короткую записку у меня на компьютерном столе в кабинете.

Кабинет был единственной комнатой в доме, куда не мог ворваться Арам; верхний угол деревянной двери разбух от летней влажности, и ее почти невозможно было сдвинуть, не имея полной силы взрослого. Поэтому он иногда служил тайным местом свиданий и секса, когда нам хотелось небольшой встряски в рутине, и там мы могли разойтись, не переживая, что нас застанет сын.

Мне нужно какое-то время побыть подальше от всего. Одной.

Пожалуйста, позаботься об Араме.

Записка почерком жены, аккуратным и убористым, емкая, как пропасть, — никаких сомнений.

Судя по аккуратности почерка, она никуда не торопилась, а значит, ей ничего не угрожало — слава богу.

Но если ей понадобилось так исчезнуть, явно случился какой-то кризис — если не физический, то эмоциональный.

Мои собственные эмоции менялись в течение дня: сначала чистый шок, потом оторопь, когда мозг как в тумане; оторопь со временем переросла в гнев, после чего наконец превратилась

одновременно в недоумение и тревогу.

Если Сон Ми в депрессии, я должен был заметить давным-давно.

«Как я мог быть так слеп?» — спрашиваю я себя без конца. Но я слеп до сих пор. Я не знаю, почему моя жена пропала.

Я смотрю на Арама, нашего херувима смешанной расы, нашего годовалого карапуза. Его широкая беззаботная улыбка напоминает хоть о каком-то маленьком утешении: он слишком маленький, чтобы высечь в своей долгой памяти этот момент, это непонятное происшествие, когда однажды утром его мать пропала, оставив лишь записку в тринадцать слов.

Стыдно признаться, но вчера ночью я не заметил ничего необычного. И даже этим утром, когда она попросила сводить Арама на детскую площадку, — плоховато себя чувствовала. Когда мы вернулись, дома была наша горничная госпожа Квон, но ни следа Сон Ми. Я уложил Арама спать. Пошел в кабинет включить компьютер и тогда-то нашел у клавиатуры записку. Бросился в спальню и обнаружил, что пропал чемодан.

Сон Ми исчезла. Как мираж. «Одной», — написала она.

«Мне нужно какое-то время побыть подальше

от всего».

Я и не думал, что когда-нибудь попаду в категорию «всего» — всего, что ее мучает. Я думал, что буду первым и единственным, к кому можно обратиться в тяжелый период. Я и не думал, что срастусь с удушающим бытом, от которого ей захочется сбежать.

Это иллюзия. Мысль, что правда кого-то знаешь. Что твоя супруга для тебя открытая книга — каждая страница, каждое слово. Можно слепо не замечать то, что между строк. Сколько старых шрамов и печалей оставлено там невидимыми чернилами.

Кто эта женщина, эта незнакомка?

«Пэ Сон Ми». Я медленно шепчу ее имя, будто никогда его не слышал, будто мне надо его запомнить.

Мы с Сон Ми особенные, но не в банально-романтическом смысле. У нас обоих детство было противоположностью обыденности, хотя ее кажется изумительней моего.

Я родился в Дареме, штат Мэн, отец — француз, мать — кореянка. Отец служил в армии, но в двадцать пять иммигрировал в Америку, а мать была послевоенной сиротой — ее усыновила пара американских миссионеров. Матери было

около тринадцати лет, когда она попала в США, но точного возраста дедушка с бабушкой не знали. От отца я унаследовал острый нос с высокой переносицей и глубоко посаженные глаза; от матери — темно-карие радужки, черные волосы, охровую кожу, что становится шоколадной после сорока минут под жарким солнцем. В маленьком городишке на Американском Севере, где дети в основном бледнолицые и светловолосые, я выделялся, как муха на свадебном торте.

Мои дедушка с бабушкой были умными и любящими, растили меня практически наравне с мамой. Каждые выходные я ездил к ним в Бангор, где они делились со мной множеством бесценных вещей: любовью к литературе, богатым английским лексиконом, историями о мире, который они повидали в молодости, за годы миссионерской деятельности. Часто они со страстью рассказывали о Корее, стране, которой я почти не знал, несмотря на свое происхождение. Но тогда Корея была для меня не на первом месте: я старался избегать любых ассоциаций, отделявших меня от людей вокруг. Тогда мне отчаянно хотелось быть обычным мальчишкой, в которого никто не тыкает пальцем в классе. Но с возрастом все понемногу менялось. На улицах Дарема и Бангора

на меня по-прежнему оглядывались, но я обнаружил кое-какую пользу от своей внешности.

Мальчишка, которого я так презирал, нескладно торчавший на голову выше остальных в классе, вырос в стройного мускулистого мужчину с широкими плечами, прямо как у отца. Я преуспевал в спорте, особенно в тех его видах, где надо метать мячи. Я был не настолько атлетичен, чтобы стать профессиональным спортсменом, но достаточно, чтобы ко мне не приставали школьные хулиганы, — я даже ни разу не дрался. И сам удивлялся, что на меня заглядывались некоторые девушки в школе. Впрочем, в подростковые годы я держался особняком: переживал, как бы обо мне опять не заговорил весь город, как бы не привлечь к себе нежелательное внимание, которое вытащит из заурядности — моей вечной зоны комфорта.

Сон Ми, наверное, была первым незаурядным в моей жизни, к чему меня потянуло.

Я встретился с ней в Китае, в городе Шэньян, где работал миссионером церкви «Новая Жизнь». Как и дедушка Нолан, после старшей школы я поступил в Корнелл на две основные специальности: английский и французский. Стал магистром английской литературы, затем — доктором на-

ук. После долгой учебы я решил провести год в Юго-Восточной Азии, чтобы, по совету дедушки Нолана, расширить горизонты. От одного его старого друга-миссионера я узнал о церкви «Новая Жизнь» — южнокорейской протестантской церкви в Китае, втайне помогающей северокорейским беженцам перебраться в Южную Корею[33]. Церкви требовался молодой корееамериканец, чтобы заниматься переводами и при этом для ширмы помогать старшему пастору в местной школе. Тогда я еще понятия не имел, что год волонтерской работы превратится в пять лет помощи северокорейским беженцам в Китае.

Сон Ми — беженка из Северной Кореи, которая оказалась у нас на пороге.

Она прожила удивительную жизнь. Родилась в Хесане, одном из самых северных городов КНДР, на границе с Китаем. Она моложе меня, но повидала столько, что иному хватит на десять жизней:

---

[33] Примечания: 33

Исторически христианские организации оказывают значительную помощь желающим бежать из Северной Кореи (в первую очередь люди чаще перебираются в Китай или Монголию, только потом — в Южную Корею). В самой КНДР христианство преследуется. Одна из крупных миссий, которая занимается перевозкой беженцев, — «Дурихана» в Янбяне (хотя в 2024-м ее лидера приговорили к тюремному заключению в Южной Корее за растление нескольких беженок — порой северокорейцам не гарантируется полная безопасность даже за пределами своей страны).

перенесла голод, который забрал половину населения в ее городе; пережила тяжелый брак и стала матерью в подростковом возрасте; перевозила наркотики и была вынуждена заниматься проституцией. И все-таки не потеряла жажды жизни. В двадцать пять она решила бежать с родины — из самого тоталитарного и изолированного государства в мире.

Мне самым незаурядным в ней показалось спокойствие. Несмотря на все превратности судьбы, она сохраняла хладнокровие, чем-то даже напоминала вьетнамского монаха из шестидесятых, который оставался недвижим во время самосожжения[34]. Я уже встречал похожую отрешенность у беженцев, но в конце концов все они срывались, чаще всего — из-за воспоминаний о своих любимых или из-за перенесенных и неизлечимых душевных травм.

Наверное, какая-то частичка меня влюбилась в нее уже в нашу первую встречу, хоть все остальные с этим и боролись: я сам себя испугался,

---

[34] Примечания: 34

Имеется в виду Тхить Куанг Дык, буддийский монах, совершивший публичное самосожжение в Сайгоне в 1963 году (вопреки распространенному мнению, не в знак протеста против Вьетнамской войны, а в знак протеста против жестоких гонений южновьетнамского диктатора Нго Динь Зьема на буддистов, после чего буддисты свергли и убили Зьема).

испугался того, что воспользуюсь человеком, который зависит от моей помощи.

Она казалась древним призраком, запертым в теле молодой девушки, усталым путником, прихромавшим к нашей церкви. Пока она рассказывала свою историю, я разглядывал ее лицо. Вокруг глаз не было морщин, но взгляд был усталый, ровный и твердый, как у старика: море печали, но ни капли сожалений. Они не блуждали и не бегали, как у многих молодых людей, когда они признаются в своей слабости. Даже во время рассказа о самых тяжелых этапах своей жизни — годах, проведенных рядом с мужем-тираном, месяцах в китайском борделе — она смотрела спокойно и неустрашимо. И не заламывала нервно руки — они лежали у нее на коленях, словно полураскрытые лотосы. Мне нравилось, что она немногословна — говорила четко и просто, никогда не поддавалась желанию приукрасить. Я сразу почувствовал, что она честна. И полюбил ее деловой подход. Мне нравилось быть с ней. Ее тихое присутствие, вся ее жизнь вселяли приятное благоговение. Мы дали ей кров и работу в церкви, а уже скоро она стала моей помощницей.

Эме Адель сказал, что любовь, расцветающая в

чрезмерно ярких обстоятельствах, не переживет осени однообразия, повседневности.

Так вдруг переезд в Южную Корею, попытка стать семьей стали и началом, и концом нашей совместной жизни.

После переезда в Сеул все было как положено: она больше не считалась незаконной беженкой, нашу любовь закрепили на бумаге, и мы стали родителями, а это — главный признак взрослой стабильной жизни.

Помню день, когда все началось — наша взрослая жизнь, жизнь, полная обязательств. Я сделал ей предложение, когда мы впервые встретились в Сеуле. Почти через четыре месяца после ее тайного переезда из Даляня, устроенного мной с помощью китайского перевозчика, с которым я работал много лет. И сразу на следующий день после того, как она прошла трехмесячные курсы в «Ханавоне» — Центре адаптации северокорейских беженцев. Я не сомневался в наших чувствах, но откладывал предложение до ее приезда в Сеул, где она уже была свободна принимать решение: я не хотел, чтобы она чувствовала себя обязанной соглашаться только потому, что нуждается в моей помощи.

Тогда я впервые видел, как она плачет. Стоило

мне договорить, как она бросилась ко мне и обняла. Прижала мою голову к своей груди, словно чтобы я слышал ее сердцебиение, — если задуматься, так же она держала годовалого Арама, выжимая из него хихиканье.

— Не нужна я тебе, дурачок, — прошептала она мне на ухо, — только не такая неудачница. — На ее лице была улыбка, но по щекам бежали слезы.

— Я не буду говорить, что прошлое осталось в прошлом, потому что это неправда, — прошептал я в ответ. Увидел, как застыли ее улыбка и всхлип. — Я преклоняюсь перед тобой из-за твоего прошлого, Сон Ми, — продолжил я, — и я еще ни с кем такого не чувствовал.

После этих слов ее застывшие слезы полились снова. Потом она меня поцеловала. На нас неодобрительно косились редкие прохожие, в основном крошечные корейские дедули с вечно хмурыми лицами. Но мы о них и не думали.

Потом я вспоминаю другое начало. То время — трудно сказать, один день или целый месяц, — когда ее незаурядность стала сбрасывать отмирающую шкуру, чешуйка за чешуйкой, и превращаться в свою противоположность — заурядность.

Посредственность. Неизбежная веха любого

брака, если верить Эме Аделю.

Ее характер. Ее фирменная невозмутимость, из-за которой я влюбился.

Загадочное спокойствие, на фоне которого все остальные девушки когда-то казались мелочными и тщеславными.

Сначала я думал, что жизнь в стабильном Сеуле проявит ее жизнерадостную сторону, ту выразительную Сон Ми, которую я увидел в день, когда сделал предложение. Но она носила мрачность вокруг себя, словно невидимый туман, плащ, в который пряталась по необходимости. И чувствовал его только я. Ее лицо становилось пустым, словно кто-то щелкнул выключателем под кожей, руки сразу обмякали и тяжелели, словно она двигалась под водой. В такие моменты она иногда не реагировала, когда я нежно звал ее: «Сон Ми, милая». Но я старался особенно не волноваться, ведь через несколько секунд внутренней бури она обязательно возвращалась ко мне. Когда я окликал второй раз, она отвечала всегда. Причем вела себя так, словно ее взбудоражило какое-то откровение. Подходила ко мне, сцепляла руки у меня на шее, мурчала на ухо, как часто делала перед тем, как завлечь меня в постель, стараясь не разбудить Арама. Пару раз я спрашивал, о чем

она думает. «Ни о чем особенном», — ответила она один раз. «Лучше не знать, милый», — ответила в другой с напускной серьезностью, словно древняя пророчица.

Меня потихоньку начала раздражать ее глубина — та самая, что раньше завораживала, притягивала. Иногда все рядом с Сон Ми, включая меня, казались недалекими и наивными, даже незрелыми, будто она старше всех — и меня в том числе, даже когда на самом деле была самой младшей из присутствующих. Случались мгновения, когда казалось, что она вот-вот откроется: я ловил взгляд задумчивых древних глаз, словно издалека, видел, как приоткрываются губы в миллисекунде от того, чтобы выразить невыразимое. Но она так до этого и не дошла. «Если захочешь поговорить, я всегда рядом, милая. Помни: что бы ты ни сделала в прошлом, ничто не изменит мою любовь и восхищение», — сказал я однажды как можно мягче. А в ответ получил только глубокий вздох, от которого она тут же чересчур легкомысленно отмахнулась, и потом — фальшивую улыбку. «Спасибо, дорогой мой», — сказала она и погладила меня по голове, будто я ребенок, как часто ерошила волосы Араму, чтобы его успокоить или помочь уснуть. Это одновременно и грело

душу, и сердило. Казалось, я читаю ее мысли, слышу, как она бормочет себе под нос: «Спасибо, дорогой, но кое-что тебе понять не дано».

И прогулки — ее одинокое хобби. Когда-то и они мне казались прекрасными. В Шэньяне она, как только получила фальшивые китайские документы, стала регулярно выходить на долгие прогулки в местном парке, всегда с книгой в руках. На вопрос, куда она так часто пропадает после работы в церкви, она ответила, что любит побродить по старому рынку или по большому парку в нескольких километрах от нас. «У меня на родине девушкам так нельзя — просто гулять в одиночку». Она покраснела, а потом ее лицо озарилось улыбкой. Она сказала, что к тому же любит читать на солнце — хоть когда оно высоко в небе, хоть когда низко и оранжево висит над горизонтом. «А главное, это бесплатно», — добавила она. Я не удержался и уставился на нее, словно это редкое дикое животное, которое, как ты думал, не существует на самом деле. Книгой в ее руках было корейское издание «Открытого потолка» — полуавтобиографического романа Эме Аделя, моего любимого французского писателя. Я привез книгу с собой и держал у себя в кабинете, куда Сон Ми свободно входила, будучи

моей помощницей. С колотящимся от волнения сердцем я спросил, понравился ли ей автор.

— Не фанатка, — ответила она с ходу, к моему удивлению и разочарованию. — Он проповедует, но сам по своим проповедям жить не может, да? — добавила она. — Кому это понимать, как не тебе — ты же сам священник.

Через неделю я спросил, можно ли мне с ней в парк Дунлинь. После недолгого колебания она согласилась. После того напряженного разговора об Эме Аделе мне было немного неспокойно. В мои студенческие годы на курсах французского в Корнелле, а также, скорее всего, во всех учебных заведениях уровня Лиги Плюща никто не смел критиковать Эме Аделя. Он был выдающимся европейским мыслителем второй половины двадцатого века, громил европейский колониализм, служил светочем движений за гражданские права, и особенно феминизма. У всех студентов французского были стикеры с черно-белыми фотографиями Аделя и его партнерши Сандрин Маро, с которой он, как известно, состоял в открытом браке. На той фотографии Адель и Маро лежали в постели, истощенные и полуголые, во время голодной забастовки, протестуя против Вьетнамской войны. Адель был богом и рок-звез-

дой послевоенной философии; никому, даже профессорам, не хватало духу открыто осудить его в аудитории перед его разгневанными революционными последователями. «Адель и Маро освободили женщин от брака!» Многие студентки были готовы клеить эту цитату на бампер.

Но теперь, в парке, эта беженка с безмятежным выражением лица, не имевшая ни научной степени, ни родословной, заявляла: «Плюс их открытые отношения — это же просто ерунда, да?»

Я почувствовал, как меня одновременно наполняют и обида, и любовь к ней. Я спросил, почему она считает величайший философский брак века ложью. Она рассмеялась и ответила, что условия их союза устанавливала не Маро: «Это просто красивый повод Аделю спать с кем попало без последствий. — И подытожила: — Тащишь в постель любую, но всегда можешь вернуться к хранительнице очага. Не жизнь, а сказка, — так жили все короли и диктаторы. Разница только в том, что

Аделя называли феминистом[35]», — пробормотала она с легким презрением. Северокорейская прямота. Меня завораживало, что все это время ее голос оставался, как обычно, спокойным и размеренным, хотя слова кусали за живое. Их зубки впились мне в самое нутро, еще часами глодали мои чресла, прежде чем я наконец смог уснуть в ту ночь. В беспокойном сне я видел себя с ней, мои губы у нее между ног. На следующее утро в церкви мне было стыдно взглянуть ей в глаза: я-то думал, у такой женщины, как Сон Ми, учитывая, откуда она родом, не может быть мнения о метафизических вопросах — любых вопросах, не касавшихся выживания.

Я рассчитывал, что после свадьбы ее одинокие прогулки перестанут быть одинокими. Я и понятия не имел, что та сумеречная прогулка в Шэньяне, когда она походя разгромила Эме

[35] Примечания: 35

Предположительно, Эме Адель — собирательный образ нескольких французских философов и идеологов второй половины XX века, в период новых левых и популярности маоизма, чей пик пришелся на красный май 1968-го во Франции. Символом этого движения был Жан-Поль Шарль Эмар Сартр (1905–1980) — французский философ, писатель и социалист. Сартр выступал за открытые отношения и жил с Симоной де Бовуар (1908–1986) — спутницей, единомышленницей, но в то же время самодостаточной писательницей и феминисткой. В реальной жизни Сартр и Бовуар имели замечательные творческие и личные отношения и считали свой брак счастливым, хоть и имели отношения на стороне.

Аделя, будет нашей первой и последней. Сон Ми сказала, что хочет оставаться наедине с собой, с книгой. А теперь, когда она живет не одна, это еще важнее, объясняла она. «У вас на Западе таких, как я, зовут интровертами», — сказала она с наигранной печалью.

Когда родился Арам, ее потребность в прогулках как будто только выросла. «Мне это нужно, чтобы не сойти с ума, — говорила она, — чтобы оставаться хорошей матерью и хорошей женой». И я старался не возражать, считал, что она заслуживает каждую секунду. Но в то же время меня оскорбляло то, что меня вот так оставляют дома. Мне было одиноко, я гадал, чем она там занимается без меня. И сам себя презирал за эти мысли, за то, что я тот самый мелочный и ревнивый муж, которым никогда не хотел быть.

В самые мрачные мгновения я даже воображал ее тайного любовника — может, кого-нибудь из Общества северокорейских беженцев в Сеуле, куда она иногда ходила. Такой же выходец из суровой страны, как и Сон Ми. Мужчина, который с легкостью поймет ее страдания. Мужчина, с которым она не будет говорить свысока. Было такое ощущение, будто я соревнуюсь с кем-то в трагичности жизни и знаю, что проигрываю. В

сравнении с этим воображаемым соперником вся моя жизнь, которая раньше казалась мне сложной, предстала банальной.

Много ли вы знаете о жизни своей второй половинки?

Можно ли о ней узнать?

В Корее родственную близость измеряют чонами. Например, я в одном чоне от родителей, а от братьев или сестер — в двух чонах. Братья и сестры моих родителей от меня в трех чонах; двоюродных братьев и сестер разделяют уже четыре. Корейские слова «дядя» и «кузен» — «сам-чон» и «са-чон» — буквально происходят от этого измерения: «сам» и «са» — это «три» и «четыре» на корейском. И с той же прямотой корейская традиция заявляет, что между мужем и женой нет чонов. Тут кроется целая паутина смыслов: во-первых, пара, связанная физической и духовной любовью, становится едина; но, во-вторых, при этом муж и жена все-таки не кровные родственники; а значит, в-третьих, без чона и кровного родства муж и жена могут в теории стать полными незнакомцами и даже врагами, как только порвутся хлипкие юридические узы.

Раньше я понимал глубину слова «чон» только умозрительно. А теперь прочувствовал на себе.

МИ ХИ

Ми Хи предстояло выбрать одну из двух личностей.

— Обе настоящие, — сказал товарищ Чха, и Ми Хи спросила, почему они обычно пользуются настоящими личностями, а не придуманными.

Он прошептал, строго глядя на нее, что так просто эффективнее. «Статистически доказано». Агенты лучше играют назначенные им роли, если те основаны на реальной жизни, даже если сами легенды выдуманы.

Говорил товарищ Чха тихо, но его взгляд давил, напоминая, что здесь не любят, когда новички задают вопросы.

— К тому же, — продолжил он, — если будешь хорошо работать, в конце концов тебя отправят в Южную Корею, а для этого все равно нужна реальная личность.

Первым вариантом был мужчина по имени Ким Чхоль.

— Пусть тебя не смущает пол, — сказал товарищ Чха.

Ее пол и не смущал; она знала, что после голода тела многих мужчин навечно застыли в пубертатном возрасте.

— Ким Чхоль невысокий и стройный, поэтому ты легко войдешь в образ, если знаешь свое дело.

Она пыталась понять — вдруг это испытание? Товарищ Чха продолжал: если все сделать правильно, впоследствии это даже может быть большим преимуществом, когда понадобится сбежать незамеченной.

— Ты снова станешь девушкой, пока они тщетно ищут парня.

Она встретилась с Ким Чхолем у него в камере, перед казнью. Ему предложили последний ужин по его выбору — холодную гречишную лапшу с яйцом вкрутую — и три сигареты, и он был очень рад сотрудничать.

— Сказать по правде, госпожа, — пробормотал Чхоль с улыбкой, пока в его ободранных губах плясал кончик зажженной сигареты, — я бы все равно согласился сотрудничать, даже без последнего ужина.

Ей не понравилось, что он называет ее «госпожа», но она смолчала, зная, что завтра он все равно будет трупом. Впрочем, она понимала, что он имел в виду. На грани гибели любая жизнь испытывает потребность оставить свой след. Ким Чхоль мечтал только, чтобы история его жизни

не стерлась с лица земли. Из-за этого — права на последнюю речь — он иногда даже важничал, будто военный герой, который дает интервью о своих подвигах.

Всю его жизнь определял голод. И в свои последние недолгие часы он говорил о еде — о том, что есть можно, а что нельзя, словно все в мире укладывается в эти две простые категории.

— Собаки, кошки и кролики почти кончились, поэтому мы ловили что поменьше — мышей, крыс, — рассказывал Чхоль, — а когда кончились и они, перешли на лягушек, головастиков, потом — на цикад и кузнечиков.

Чхоль, сидя с приоткрытым ртом и опустевшими глазами, с головой ушел в ностальгию. Его аппетит не пощадил даже осколок детских воспоминаний Ми Хи — красные блестящие стрекозы, что плясали в семейном саду космей.

— Но только надо отрывать голову, — подчеркнул он. — Она горькая, а без головы у стрекоз такой же насыщенный ореховый вкус, как у жареных анчоусов.

Она чувствовала и отвращение, и жалость.

Чхоль был ккотчеби[36] — один из множества сирот, порожденных Голодом: периодом экономического кризиса в девяностых, забравшим четверть населения Северной Кореи. Он не помнил матери, которая бросила его в три года; отец, рабочий, имевший низкий сонбун, доверил Чхоля со старшим братом приюту. Вскоре после того, как брат умер в приюте от брюшного тифа, Чхоль сбежал. Больше он никогда не видел отца.

Одиннадцатилетний Чхоль жил на подножном корму, скитался на поездах с места на место, находил спутников и терял, воровал и бывал обворованным. К двенадцати он освоил искусство охоты и собирательства. К тринадцати — бартер. В четырнадцать принял решение всей своей жизни: пересечь границу. С тех пор был нелегальным

---

[36] Примечания: 36

Ккотчеби (*букв.* «поедающие цветы») — официально непризнанная в КНДР прослойка населения, возникшая в середине девяностых из-за низких урожаев и, главным образом, развала Советского Союза, в результате чего КНДР, находившаяся под тяжелыми санкциями США с 1950-х, утратила свой главный источник средств и торгового партнера. После этого в стране наступил голод, из-за которого, по разным официальным оценкам, погибло вплоть до 15 % населения страны (около 3 миллионов человек). В нулевых голод сошел на нет благодаря появлению формально незаконных общих рынков, международной помощи и небольшому облегчению санкций (но после того, как КНДР продолжила свою ядерную программу, она снова подверглась самым тяжелым санкциям в мире, пока ее в этом не опередили Сирия, Иран и Россия).

старьевщиком, продавал металлолом и северокорейские безделушки китайцам за границей. Быстро стал самым богатым человеком в своем окружении: все железки и медь, горшки и украшения, которые северокорейцы сдавали ему за доллар, приносили уже пятнадцать из карманов китайских покупателей. Бизнес процветал, пока Чхолю не исполнилось шестнадцать — он стал совершеннолетним.

— К тому времени я незаконно перешел границу уже десяток раз, — сказал Чхоль, раздуваясь от гордости. — Я знаю такие броды на реке Туманной, где пограничники почти не смотрят.

Украв из кучи трупов у вокзала документы, Чхоль подыскал убежище у реки, где хранил товар и кое-что на черный день.

В конце концов к смертной казни его привели не переходы границы. Его арестовала в том самом убежище тайная полиция, когда он доставал деньги из тайника. А наличные он прятал в рамах, за портретами Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Чхолю казалось, это непревзойденный тайник — там бы никто не посмел шарить: любые изображения отца и сына считались священными, причинение им вреда приравнивалось к измене. Но когда ворвалась тайная полиция,

Чхоль, открывая раму, выронил портрет Ким Чен Ына. Стекло разбилось, уголок порвался, отчего у верховного вождя появилась жуткая кривая ухмылка.

— Понимаете, — сказал Чхоль, — переход границы простить могут, но оскорбление Верховного главнокомандующего — нет.

«Никогда, особенно если ты совершеннолетний», — подумала Ми Хи. Кивнула, глядя на Чхоля. Их поколение выросло на историях о маленьких героях, спасавших священные портреты отца и сына из горящего дома или тонущего корабля, праведно рискуя жизнью.

Ми Хи задавалась вопросом, сможет ли быть такой же спокойной перед лицом смерти, как Чхоль. Как и многие другие северокорейцы, пережившие Голод, Ми Хи и Чхоль относились к смерти равнодушно — уже на нее насмотрелись. Но к своей Ми Хи не могла быть равнодушной. Одна мысль об этом — о том, что на следующий день тебя может не стать, — казалась невозможной, слишком чудовищной, чтобы даже вообразить. На вопрос, страшно ли ему, Чхоль тихо фыркнул:

— Меня ничто не проймет, госпожа. Я столько повидал, столько сделал — кажется, будто я уже прожил тысячу лет.

Он признал, что если бы мог выбирать, то предпочел бы не умирать.

— Но если и умру, то жалеть мне не о чем, — добавил он, пожимая плечами.

Чего он действительно боялся, так это голодной смерти — медленной, мучительной кончины, лишающей рассудка и человечности.

— А моя смерть будет быстрой, бах — и никакой боли, так что ничего страшного. К тому же я умру на сытый желудок, наевшись говяжьего бульона с настоящей гречишной лапшой. А не фальшивой, из кукурузных початков или соснового лыка. — Эти последние слова он проглотил с улыбкой. И все же у него на лице зависла тень печали, словно от неподвижного клуба сигаретного дыма.

Вторым вариантом была женщина, Пэ Сон Ми.

Высокая, худая. Лицо бледное, как бумага. Щенячьи глаза, уголки чуть опущены. Тонкие губы, но волевой подбородок.

Она была моложе Ми Хи, но выглядела намного старше.

В отличие от многословного Ким Чхоля, Пэ Сон Ми говорила с опаской. Выдавала свою жизнь по капле. Впрочем, как и Ким Чхоль, она много раз переходила корейско-китайскую границу, после чего ее арестовали и сослали в трудовой

лагерь. Она продавала наркотики — бинду[37], кристаллический мет.

— До этого я была обычной матерью, — произнесла она тихо, прибавив горькую улыбку.

Сон Ми никогда не плакала. Но каждый раз, когда упоминала сына, повисала долгая пауза. Говорила она медленно, голосом тихим и нежным, почти без интонации. Это зацепило Ми Хи. Когда история повисала на полуслове, словно, вспоминая, Сон Ми боролась с чувствами, у Ми Хи мучительно екало сердце. Из-за этой своей склонности Сон Ми получила еще четыре дня на то, чтобы рассказать о своей жизни перед казнью, тогда как у Чхоля был только один.

Как и Ми Хи, Сон Ми оказалась родом из Хесана — одного из самых северных городов, рядом с Китаем. Это было на руку Ми Хи: о родном городе ничего не придется учить и запоминать. Это экономило уйму времени. Сон Ми родилась в семье с низким сонбуном, ее выдали замуж за парня из семьи с высшим средним. Муж работал пропагандистом на радиостанции Хесана.

— Сильный и красивый, с добродушным смехом, — рассказывала Сон Ми. — Грубова-

---

[37] Примечания: 37
Лед (*кор.*).

тый, но грамотный, его любили и женщины, и мужчины. — На этом нежные воспоминания закончились. — Он изменился буквально за одну ночь, — пробормотала Сон Ми: после свадьбы вся жизнь свелась к выпивке и издевательствам.

Ми Хи удивило, что Сон Ми рассказывает о насилии так отстраненно, словно всю боль пережил кто-то другой. Мысль о побеге неожиданно пришла в очередное утро после пьяных побоев, за которыми последовали слезы, клятвенные заверения, что этого больше не повторится, и страстное признание в любви — обычная программа, к которой она уже привыкла настолько, что могла повторить хоть задом наперед. Пока она накладывала тальк на синяки под глазом и на шее, пока все суставы пальцев горели от боли, ее осенила простая истина: однажды он ее убьет. «Пока я жива, это не прекратится», — поняла она. Перед ней было два пути. «Я убью его раньше, чем он убьет меня, — прошептала она, — или сбегу». Словно одержимая призраком, Сон Ми бросилась из дома в одной тонкой сорочке. И больше не возвращалась.

Она решила пересечь Ялу и отправиться в Китай — ей в любом случае ничего другого не оставалось. Она смутно помнила дядю Ма

Чжо — сына двоюродной бабки, который жил в Чанбайшане, китайском округе, населенном в основном этническими корейцами. Его семья приняла ее без радости, но и без враждебности. Просто сделали то, что считали своим долгом перед дальней родственницей, которую не видели десять лет. Накормили и приютили, пока она не пришла в себя и не зажили все синяки.

— И я опять осталась одна: только восемь долларов в кармане и саквояж с одеждой тети Ма Чжо.

Будучи беженкой без документов, она сменяла одну опасную низкооплачиваемую работу за другой.

— Для незаконной иммигрантки из Северной Кореи есть только одна дорога — проституция разных видов, — сказала Сон Ми, вперившись в пустоту.

От массажа с хеппи-эндом к роли жены крестьянина-инвалида, а привела эта дорога в классический квартал красных фонарей. Но на вторую неделю в борделе Сон Ми снова сбежала. Когда всех работниц послали в общественную баню и охрана осталась у дверей, она сделала вид, что ей надо в туалет, а потом выпрыгнула в окно. Когда она поняла, что и без проституции жизнь не сахар, все мысли стали сходиться на

том, чтобы покончить с собой, но вдруг ей выпало то, что она приняла за второй шанс.

— Мне предложили вывозить наркотики из Северной Кореи, — сказала она.

Работа опасная, но очень прибыльная, объяснил ей китайский бандит со шрамом. Северная Корея десятками лет производила и очищала опиум в промышленных масштабах — это один из редких товаров страны, отвечавший международным стандартам. Формально наркотики предназначались только на экспорт, для вливания иностранной валюты. Но в такой разваливающейся экономике, где взятки кормили лучше, чем зарплаты, наркотики попали и в руки общественности. Из-за дефицита западных лекарств народной панацеей стал кристаллический метамфетамин. Его применяли от любой боли, против любой хвори — от герпеса до рака в последней стадии. Им пользовались даже здоровые люди, чтобы забыть о голоде или реальности.

— В Китае северокорейский бинду в цене из-за высокого качества и сравнительно низкой цены, — продолжала Сон Ми, — и китайские банды всегда искали способы его заполучить.

Они решили, что из Сон Ми — типичной кореянки, не молодой и не старой, — получится

отличная контрабандистка. Она не вызывала интереса и подозрений в толпе, к тому же женщин реже обыскивали. Она могла незамеченной покидать страну и возвращаться.

Работала она в основном зимой. Под зимней одеждой было больше места для наркотиков, а также для налички и сигарет, чтобы подкупать пограничников. Зимой Ялу замерзала, и Сон Ми переходила по толстому льду, не опасаясь за товар.

— Впервые в жизни у меня была цель, — прошептала она, закрыв глаза.

Дело и в самом деле оказалось прибыльным: на первом же переходе она заработала столько, сколько ее муж получал за год, и уже вообразила новую жизнь, в которую вернется ее десятилетний сын. Она еще никогда не работала с таким рвением. Ей требовалось больше денег, чтобы оплатить для сына безопасный маршрут и приличное жилье в Китае. Следующей зимой она совершила еще несколько удачных ходок в Корею. За все это время она попалась только раз, да и то легко откупилась от пограничника тремя долларами и пачкой сигарет.

Ее мечта пошла крахом в самый последний момент. Всего одна ниточка расплела весь ее труд.

Однажды, проходя мимо своего бывшего района в Хесане, она не удержалась и нашла школу сына.

— Хоть взглянуть на него издали. — Ее голос дрожал.

Сына Сон Ми не заметила, зато заметили ее — некий Ин Чже, бывший сосед и очень близкий друг ее мужа. Полиция появилась в считаные минуты.

Сон Ми знала, что ее удаче конец. В отличие от большинства полицейских, товарища Ин Чже было не подкупить. Предложенная взятка его только разозлила: «Грязная изменница, предательница Партии и отца своего ребенка!» — кричал Ин Чже.

— Он проследил за мной до вокзала, чтобы в этот раз я не сбежала.

Оказавшись в камере, пока на заднем фоне товарищ Ин Чже тараторил по телефону с мужем, она поняла, что уперлась в тупик. Больше ей не сбежать. Она хорошо знала, что ждет дальше: трудовой лагерь — и обратно к мужу. Последнее решение требовалось принять быстро, пока еще было можно. При себе у нее был припрятан бинду — и она почти все запихнула себе в рот, но ее остановил охранник.

— Такая доза могла бы убить коня, но меня по-

чему-то не убила, — прошептала Сон Ми, опустив голову.

Все заполнила тишина. Ми Хи гадала, не плачет ли Сон Ми.

— Меня судили и приговорили к смерти, — произнесла та наконец сначала со смешком, а потом со вздохом. — Главной причиной смертного приговора был не переход через границу и не торговля наркотиками. — Теперь Сон Ми смотрела Ми Хи прямо в глаза. — А попытка покончить с собой.

«А как иначе», — подумала Ми Хи. Государство ненавидит самоубийства. Самоубийства — зло, пассивный протест против Партии. Внутренняя измена. Они не могли допустить такого на своей территории, в своей камере — там, где ты должна быть лишена всей свободы. Они не могли оставить такой позор безнаказанным.

Сон Ми всхлипнула. Ми Хи растерялась, испугалась. Не самое приятное зрелище — крах человека с таким самообладанием. Ми Хи хотелось одновременно и дать ей пощечину, и обнять. Но она осталась сидеть молча. Так ее учили.

Промокнув слезы, Сон Ми сказала то, чего Ми Хи никак не ожидала услышать: несмотря ни на что, она считала, что ей повезло. Она была

рада рассказать историю своей жизни, пока ее не отняли.

— Не многим смертникам дается такой последний шанс, правда? — пробормотала она с тонкой улыбкой.

Она понимала, что завтра умрет, но осознание того, что она продолжит существовать, пусть даже в виде личины для другого человека, ее успокаивало. Опосредованное счастье, странное, как сама жизнь.

— В каком-то смысле мы обе дарим друг другу новую жизнь, да? — спросила Сон Ми. По ее улыбающемуся лицу побежали слезы.

Они попрощались.

Когда Ми Хи выходила из камеры, Сон Ми окликнула ее. Сказала, что забыла сказать кое-что важное.

Она схватила Ми Хи за плечи и прошептала на ухо:

— Если будете переходить еще не замерзшую Ялу, сначала полностью разденьтесь.

Ми Хи смотрела, как уводят Сон Ми.

Ее слова напомнили Ми Хи о матери.

Мама, ее кумир. Это из-за нее Ми Хи выбрала профессию — ей же наперекор. Но, как гласит странная корейская поговорка, «ни одному роди-

телю не победить своего ребенка». Со временем это признала и мама. С тех пор она стала строгой учительницей.

Однажды она рассказала Ми Хи, что при выполнении прошлых заданий ей пришлось перейти немало рек.

— Ялу, Туманную, даже Имджинган, — сказал она. — На мне тогда ставили эксперименты.

Мама была не обычным агентом из элитной школы, поэтому ее для проверки посылали на самые грязные, подлые, опасные задания. Бросали в воду и смотрели, выплывает ли.

Она учила Ми Хи сносить все.

— Первое задание важнее всего, — подчеркнула мама. — Только когда я проявила себя в нескольких испытаниях, мне дали надежное прикрытие в качестве предпринимательницы.

Но перед тем как облачиться в сияющие доспехи предпринимательницы, мать носила цветок в волосах и разыгрывала тронутую сироту. Прикидываясь бродяжкой, она втайне собирала данные об американской военной базе в южнокорейском Пхаджу. Сон Ми казалось, что немая юродивая — ужасная роль, но мама ответила, что это был умный и убедительный образ. После войны в каждом южнокорейском селе осталась своя оси-

ротевшая дурочка. Из-за их скорби они считались все равно что слепыми. Никто не воспринимал ее, несчастную и отрешенную, настоящей угрозой. Поэтому она пользовалась странной свободой.

Как и Сон Ми, мама сказала, что нужно раздеваться перед тем, как переплывать реку:

— Особенно Ялу. По ночам, даже летом, вода там холодная, как сама смерть. Не стоит умирать от переохлаждения раньше, чем хотя бы одним глазком посмотришь на внешний мир, — улыбнулась она.

Ми Хи предстояло сделать выбор между двумя жизнями: Чхоля и Сон Ми.

Но он с самого начала казался слишком простым. Сон Ми — какие могут быть сомнения? И тогда она снова задумалась: а что, если все это — испытание? Она знала, что новеньким редко дается право выбора. Это преимущество той, у кого легендарная приемная мать? Или им интересно, насколько она готова рискнуть?

Она образцовая конформистка? Или дерзкая авантюристка?

В их странном ремесле всегда было непросто докопаться до истины.

РУССО

Ее небрежное отношение к Эме Аделю. Однажды оно и покоробило мое сердце, и покорило его.

Я дивился простой смелости Сон Ми, тому, что она не подчинялась общественному мнению. Я завидовал ее уверенности. Я, наоборот, все детство и юность провел в страхе перед тем, каким меня видят другие.

Но это начинало и раздражать — легкость, с которой она отмахивалась от чужого мнения.

Она не стала фанаткой «Открытого потолка», но в конце концов прочитала все книги Эме Аделя, что стояли у меня на полках в нашем скромном супружеском жилище в Сеуле. А закончив с Аделем, перешла на Сандрин Маро.

Однажды я увидел, что она читает «Теплицу» Маро — историю о женщине-ботанике, страдающей от любви к поэту-донжуану. Когда она дочитала этот полуавтобиографический роман, я, окрыленный надеждой, спросил, не передумала ли она насчет Аделя после стольких книг. Она лишь сверкнула загадочной улыбкой и пожала плечами:

— Мне нравится суть его философии. Он многим дарит надежду и цель в жизни. Просто он не

нравится мне как человек.

— Почему? — Задавая вопрос, я слишком резко повысил голос. Сердце неприятно екнуло.

— Многие его поступки в реальной жизни идут вразрез с тем, что он писал. Он выставлял себя врагом белого расизма, звал себя изгнанником из-за своего смешанного происхождения. Но сам при этом был голубоглазым блондином. Где видно, что он на четверть афроараб? Он в жизни не страдал от расизма, наоборот, это невидимое афроарабское наследие оказалось ему только на руку. Его нога не ступала на родную землю отца, он только купался в белых привилегиях европейского первого мира, которые осуждал в своих книгах[38]. Вот же лицемер. — Она рассмеялась.

Я задыхался, хотя говорил все это время не я. А Сон Ми продолжала:

— И еще звал себя феминистом. Предлагал революционный открытый брак. Ну, одному он точно был открыт. Трахаться побольше без последствий. Какая простая и блестящая стратегия. — Она снова посмеялась над своим

[38] Примечания: 38

Сартр не был смешанного происхождения, зато Альбер Камю (1913–1960), французский философ и писатель, родился в Алжире (впрочем, в семье французов). Однако Камю, в частности, выступал как раз против независимости французского колониального Алжира.

цинизмом. — Прости, — добавила она и фыркнула: — Не умею приукрашивать свои мысли, как принято у южных корейцев.

Я был в бешенстве. Меня злило, что она все это время оставалась спокойной, даже порой озорной, пока у меня горело лицо. Я чувствовал, будто угодил в засаду. Но при этом нападавший казался совершенно невинным. В моей голове пошатнулась литературная башенка, которую я выстраивал с детства. Но Сон Ми, только что устроив бурю, уже об этом забыла, ушла легкой походкой на кухню, промывала рис на ужин и напевала под нос.

Это ее жестокое спокойствие.

МИ ХИ

И стоило Ми Хи ступить босой ногой в Ялу, как она переродилась в Сон Ми. Принимая крещение, по пояс в ледяной воде, она благодарила маму и Сон Ми за бесценный совет: раздеться перед тем, как переправиться через реку. Все, что она сложила в водонепроницаемый целлофановый пакет, — одежда, маленькое полотенце, кошелек, носки и резиновая обувь — осталось сухим и невредимым, как в детской колыбели. Надеть сухое после холодной реки было все равно что по-

грузиться в глубокий сон после белой ночи. Она даже воскликнула от усталости и облегчения.

По правде говоря, думала Ми Хи, перейти границу оказалось чуть ли не разочаровывающе просто: единственным врагом был холод, а не окрики или пули пограничников. И такое маленькое расстояние — там не было и пятидесяти метров. Несколько десятков медленных шагов в воде, с чем без посторонней помощи справится почти любая девушка, — вот и все, что нужно, чтобы сбежать из самой закрытой страны на земле. Но Ми Хи уже узнала от Сон Ми, что самое трудное — не перейти границу, а выжить без документов.

Как странно, думала Ми Хи. Она родилась и выросла в Хесане, а потому давно знакома с видом той стороны границы. Но вот что она видела впервые, так это свой родной город с этой стороны. В темноте низкие серые очертания Хесана казались такими знакомыми и в то же время чужими. Словно она во сне покинула тело и наблюдала сверху, как спит, паря над собственным застывшим лицом. Пройденное расстояние было небольшим, но тяжело давило на нее.

В отличие от большинства северокорейских беженцев в Китае, Ми Хи знала, куда идти. Ре-

инкарнировавшись как Сон Ми, она собиралась проникнуть в Сэсэнмён Кёхве — церковь «Новая жизнь». По слухам, эта корейская протестантская церковь в Шэньяне помогала сотням беженцев перебраться в другие страны, в основном в Южную Корею. Основал ее бизнесмен из Южной Кореи, а руководил ею американский пастор Адриен Руссо.

— Он родился в Америке, — инструктировал товарищ Чха, — в семье французского иммигранта и приемной матери — кореянки. Основной язык — английский, но также в совершенстве владеет французским, корейским и китайским. — Товарищ Чха выпятил нижнюю губу и поднял брови в знак признания вражеских заслуг. По его словам Руссо выходил равнодушным, отрешенным человеком, которого трудно впечатлить, а значит, и обмануть. Пока что ее делом было присматривать за пастором и сообщать обо всей его деятельности и речах, касающихся Партии. В свое время она проникнет с помощью пастора Руссо в Южную Корею под личиной беженки.

— Говорят, этот выродок — осведомитель ЦРУ, — подчеркнул товарищ Чха.

Ми Хи задел его выбор слова. «Выродок». Вспомнились разные западные монстры — минотавр,

чудовище Франкенштейна. За таким не захочется следить, не сводя глаз, шесть дней в неделю, подумала она.

Сначала она остановилась в Чэнбае, чтобы получить поддельные документы для переезда в Шэньян. Пришла по адресу, который товарищ Чха велел выучить наизусть. Это оказался черный ход ресторана хот-пота посреди многолюдного рынка специй, выходящего в темную подворотню, где висел тяжелый запах прогорклого жира и молотого красного перца. Ми Хи постучала в дверь — четыре раза быстро, два раза медленно, — и ей тут же открыла пожилая женщин в резиновом фартуке, заляпанном кровью. Она сказала Ми Хи подождать и скрылась внутри. В приоткрытую дверь Ми Хи увидела ряд тушек, висящих вверх ногами на потолке, словно колония парализованных летучих мышей; животные напоминали больших освежеванных кроликов, но Ми Хи

знала, что это не они[39]. Хозяйка вернулась с маленьким рюкзаком. Ми Хи забрала его и поблагодарила. Та ничего не сказала в ответ. Товарищ Чха говорил, что Ми Хи не положено знать ее имя и чем она занимается. Все остальное она получит уже в Шэньяне, точно так же — от безымянного агента, сводя к минимуму разговоры и контакт.

Ми Хи сошла с поезда, не доезжая остановку, и добралась до церкви «Новая жизнь» пешком. За семь километров от нее переобулась. Старую обувь выбросила на обочине. Новая была состаренной, со сколотым левым каблуком. По прибытии Ми Хи хромала уже по-настоящему — так натерла ногу.

У входа она увидела двоих: уборщика с сильным китайско-корейским акцентом и женщину

---

[39] Примечания: 39

Предположительно, имеется в виду традиция употребления в пищу кошачьего мяса, распространенная в Китае (главным образом на юге) и других странах Азии. Традиционно кошачье мясо считалось особенно полезным, например, в блюде «дракон, тигр, феникс» (змея, кошка, курица). Но с XX века в Китае с этим начали бороться: в 2010 году выдвигались первые предложения наказывать за употребление кошатины в пищу коротким тюремным сроком, а в 2020-м на фоне эпидемии коронавируса собак и кошек вывели из списка мяса, пригодного для питания, после чего их запретили употреблять в пищу как минимум в двух южных городах.

Впрочем, традиция поедания собак и кошек существует и в Южной Корее: в частности, кошки считаются важным ингредиентом в целебном соджу (для этого убивается около 100 тысяч кошек в год), а собаки — традиционной пищей. Только в 2024 году был введен запрет на разведение

собак на убой и их поедание, который вступит в действие в 2027-м.

средних лет, которую уборщик называл дьяконицей Кан. Они впустили ее, едва взглянув на ногу; Ми Хи знала, что верующие не бросят раненую женщину, когда ей требуется Божья помощь. Снаружи церковь, пресная и серая, как вареное мясо, выглядела неказисто — не отличишь от любого угловатого здания в стиле брутализма на улице, если бы не красный неоновый крест над воротами. При виде креста у Ми Хи выступили слезы на глазах — настоящие, от боли и облегчения. Ее без лишних слов привели в подземный молитвенный зал — просторное помещение без окон, где пахло лакированным деревом и плесенью. Там ей обработали ступню, потом велели ждать. Она знала, что они ушли за пастором — тем, кто принимает решения о беженцах. Она опустила взгляд на ногу — та заметно распухла, но порезы и синяки были только поверхностные: отличный предлог задержаться в церкви, пока она не сможет ходить без боли. Ми Хи поймала себя на улыбке, но скоро сама себя испугалась, задавшись неожиданным вопросом: как далеко готова зайти ради миссии агент Ми Хи — терпеть боль, пожертвовать своим телом?

Она решила думать о чем-нибудь другом — о насущном, о том, что важнее и серьезнее окро-

вавленной ступни. «Кто такой пастор Руссо?» — спросила она себя. Что за человек этот незнакомец — американец смешанного происхождения, немногословный полиглот? Ми Хи вспомнила об архетипе американца, о котором рассказывали в школе: бледное чудовище с длинным и острым, как штык японского солдата, носом. Шакалы — так их называли учителя. Хитрые хищники, жадные до крови корейских детишек. Но уже в детстве Ми Хи хватало ума не верить в это до конца.

Конечно, при виде пастора Руссо она сразу поставила пару галочек в своем мысленном списке. Молодой, высокий, красивый этакой мрачной красотой. Кожа цвета меда, волосы цвета воронова крыла, лицо — как граненый алмаз. Странная красота, думала Ми Хи. Она впервые видела человека межрасового происхождения и задумалась, все ли они так приятны глазу. На корейском он говорил практически безупречно, не считая того, что на американский манер растягивал каждый звук «у» и ставил ненужное ударение на соединительные частицы. Впрочем, говорил он емко и по делу, чем напомнил ей северокорейского командира. «Он не любит лишних слов, — подумала она, — поэтому не тяни и переходи сразу к

делу». Так она и поступила, когда он попросил рассказать о путешествии, о том, как ее занесло к нему на порог.

Ми Хи рассказывала краткую версию истории Сом Ми, а пастор Руссо, казалось, только наблюдал и слушал с неподвижным лицом. Лаконичность — последнее, чего Ми Хи ожидала от американского протестантского пастора. И никакой самодовольной снисходительности, заметила она, присущей многим проповедникам в разговоре с несчастными обитателями третьего мира, которых хотят обратить. Возможно, это значит, что он здесь не с религиозной, а политической миссией?

Он оказался крепким орешком, но Ми Хи знала, куда бить. Завоевывать доверие такого человека — все равно что знакомиться с псом. Не торопись, не рвись гладить и сюсюкать, пусть сам подойдет. Не смотри прямо в глаза — это может разозлить или спугнуть. Попробуй очень медленно подступить и присесть — но, опять же, секрет в том, чтобы он думал, будто это он приближается, а не наоборот. А тебе надо только протянуть в последний момент руку, все еще не поднимая глаз, — но это он должен приблизиться, принюхаться и наконец лизнуть твои пальцы.

Поэтому какое-то время, в отличие от других северокорейских беженцев в церкви, она не тревожила пастора у него в кабинете. Отвечала как можно короче, но никогда не сидела без дела. Вызвалась убираться в молитвенном зале, протирала скамьи, Библии и гимнарии, избавилась от плесени на стенах, натерла до блеска кафедру, регулярно сменяла воду в вазе с цветами. «Это меньшее, чем я могу помочь своими здоровыми руками, дьяконица Кан», — сказала Ми Хи смотрительнице церкви, когда неподалеку оказался пастор Руссо, выходивший из кабинета. Ми Хи вежливо здоровалась с ним при каждой встрече, но сама разговор никогда не начинала.

Случай представился, когда Ми Хи снова смогла ходить без боли. Это случилось через несколько дней после десятилетнего юбилея церкви «Новая жизнь». Чтобы отметить день рождения, собрались тысячи. Съезжались вместе со своими работниками южнокорейские бизнесмены, владельцы мебельных и консервных фабрик в Шэньяне, приносили экзотические фрукты и деньги в красных конвертах[40]. Этнические ко-

[40] Примечания: 40

В красных конвертах в странах Азии традиционно дарят деньги на крупные праздники, такие как свадьба или китайский Новый год. Обычай зародился в Китае.

рейцы из соседних регионов — Даньдуна, Чэнбая и даже Яньбяня — приезжали в Шэньян целыми семьями, чтобы насладиться пиром и бесплатными корейскими угощениями. После трех дней пира пастор Руссо, громко говоривший одни и те же слова тысячам улыбчивых лиц и пожимавший тысячи рук, на время лишился голоса и чувствительности в правой руке.

— Говорите, вы умеете печатать? — спросил он ее тем утром ни с того ни с сего, надтреснутым голосом, когда Ми Хи оттирала кофейное пятно с его двери. Небрежный тон застал ее врасплох: за последний месяц он не перебросился с ней и словом. И Ми Хи, хоть и обрадовалась представившейся возможности, замялась: она ни разу не говорила, что умеет печатать.

— Да, умею, сэр, — ответила она тихо и с опаской.

Пастор Руссо улыбнулся:

— Хорошо. Поможете? Я не справлюсь одной левой рукой. — Он поднял правую, обклеенную обезболивающими пластырями.

От едкого запаха ментола у нее чуть не заслезились глаза.

Она пошла за ним в кабинет. Он выдвинул свой стул и жестом пригласил сесть. Потом принялся

диктовать проповедь на следующее воскресенье. Недоумевая все больше, Ми Хи помалкивала и печатала так быстро, как умела. Над верхней губой выступили капли пота. Она сосредоточила все силы. Ей казалось, что просить его диктовать помедленнее или повторять будет все равно что проиграть. Под конец его губы и ее пальцы танцевали почти в унисон, словно повторяли это па-де-де уже годами.

Пастор Руссо забрал у нее страницы и начал читать. Ми Хи поймала себя на том, что отчаянно ищет у него на лице одобрение.

— Хорошо, — сказал он, и она испытала странный прилив радости, будто нервный ребенок, которого похвалила обычно сдержанная мать. — Даже слишком хорошо, — добавил Руссо, наморщив лоб.

Ее сердце ушло в пятки.

— Можно спросить, что значит «слишком хорошо»? — Это был первый вопрос Ми Хи к пастору.

— «Мафусаил», — произнес он себе под нос. — Вы напечатали без ошибок. Я назвал это имя всего раз, а вы напечатали быстро и правильно.

Он спросил, знает ли она этого библейского персонажа. Она ответила, что Мафусаил, дедушка Ноя, — самый старый человек в Библии, прожив-

ший почти тысячу лет. А чтобы сгладить свою оплошность, решила подкинуть долю правды:

— Моя мать была христианкой, до войны ее учили и крестили канадские миссионеры. Она обучала меня Библии.

Она увидела удивление на его обычно невыразительном лице.

Он снова полистал страницы и кивнул. Ми Хи заметила, как у него проявляется слабая улыбка.

— Северокорейские беженцы приходят и говорят, что хотят читать Библию и стать христианами, — сказал он, — но, конечно, их настоящая цель совсем другая. Впрочем, я их не виню. Делают, что могут, ради шанса на лучшую жизнь. — Он сжал губы и пристально посмотрел на Ми Хи, словно требовал ответа. Но она молчала, только глядя в ответ еще пристальней. — А вы из тех редких, госпожа Пэ Сон Ми, кто уже знает Библию. — И снова та улыбка. Но Ми Хи на нее не ответила.

— Я ничем не отличаюсь от остальных, пастор, — сказала она. — И хочу того же самого. Может, разница только в том, что я не люблю оставаться в долгу.

Она была немногословна и уже скоро ушла. Она знала, что за нее намного лучше говорит целый

месяц, в течение которого она мыла, убирала и натирала.

Вечером пастор Руссо снова вызвал ее к себе в кабинет.

Он сказал: то, чего она хочет, не получится сделать сразу. Придется ждать, возможно даже целый год.

— Северокорейское правительство начало самую жесткую операцию против беженцев, скрывающихся в Китае. — Он тяжело вздохнул и признался, что ему уже пришлось отказать нескольким людям, которые обращались в прошлом месяце, незадолго до Сон Ми.

Она ответила, что не торопится.

— Моя цель — заработать достаточно, чтобы оплатить переезд, даже если ждать придется долго, — терпеливо произнесла она. — Я уже была в долгу — у тех, с кем не стоило иметь дела. И дала себе слово, что больше это не повторится.

После разговора пастор Руссо назначил ее своей помощницей. На следующий день с утра пораньше Ми Хи пришла к нему в кабинет печатать послепраздничные благодарственные письма попечителям церкви. Дьяконица Кан, до этого благодарная Ми Хи за помощь в черной работе, теперь косилась на нее при каждой встрече,

встречая враждебным молчанием.

— Так что за умения ты ему показала, девчонка? — спросила она через несколько дней, столкнувшись с Ми Хи в женском туалете.

«Такие, каких ты себе и представить не можешь», — мысленно ответила Ми Хи.

Ей нравилось работать в подвальном кабинете пастора. Он напоминал отцовский крошечный кабинет в Хесане, набитый старыми книжками и нелегальными виниловыми пластинками. Она втайне влюбилась в запах: как и у отца, комната дышала затхлым воздухом (серый запах, как говорила маленькая Ми Хи). Успокаивающий аромат, который можно было почувствовать только в двух местах: у стопки пожелтевших от времени книг и у входа на Хесанское летное поле под дождем. Малышка Ми Хи бегала туда каждый раз, как замечала, что в небе собираются темные тучи, только чтобы вдохнуть эту пепельную красу: запах цементного молока, выступившего на огромной гладкой поверхности, мокрой после дождя.

Ми Хи, безнадежный книжный червь, перебрала у пастора все книги на полках и в шкафах. И была разочарована, обнаружив, что там почти нет американской литературы, которую

надеялась почитать вновь. Мир думает, будто в Северной Корее запрещено любое культурное влияние Америки, но это не совсем так. Ми Хи выросла на «Томе и Джерри», которых показывали по телевизору. Партия одобряла эту метафору — маленькому существу при помощи смекалки каждый раз удается перехитрить исполинского врага — и применяла себе на пользу в качестве аллегории победы Северной Кореи над США — большим задирой. Как у лучшей студентки элитного университета, у Ми Хи была привилегия читать кое-что из запрещенной литературы — чтобы «познать своего врага», как наставлял Сунь Цзы. Обучаясь на агента, она получила почти безграничный доступ к американской, европейской и даже южнокорейской литературе, чтобы убедительнее притворяться жительницей вестернизированной Азии.

Она вспоминала романы янки, которые ей нравились в студенчестве: «Унесенные ветром», «Великий Гэтсби», «К востоку от рая» и многие-многие другие. Но у пастора не нашлось ничего подобного. Зато было не счесть трудов по философии, да еще пара романов, написанных европейскими мыслителями. Она в шоке обнаружила целых две полки с Эме Аделем и Сандрин

Маро. Это же два самых известных «полезных идиота» Запада. Наивные левые интеллектуалы, поддерживавшие коммунизм. Их приглашали в Советский Союз и Северную Корею. Возили по подготовленным местам, показывая коммунистическую стабильность, пока реальные граждане голодали и страдали за кадром. Вернувшись в богатые страны Запада, эти канарейки громко воспевали красоту коммунизма. Спустя двадцать лет они отказались от своих слов — правда, только частично[41].

Какая ирония, думала Ми Хи. Американский протестантский пастор из черного списка коммунистического правительства обожает читать сторонников коммунизма. Она выбрала «Открытый потолок», знаменитый роман Аделя, хоть уже его и читала. Любопытство и хорошее отношение к пастору сподвигли ее дать книге второй

[41] Примечания: 41

Сартра называли «полезным идиотом» с 1961-го, хотя он был последователен в своих позициях и выступал против империализма и военных вторжений во всех их проявлениях: как против Алжирской и Вьетнамской войн, так и против подавления восстаний в Венгрии и Чехословакии. Также он поддерживал как менее, так и более демократичные коммунистические режимы (например, в Польше) и от своих взглядов до конца жизни не отрекался. Впрочем, эта принципиальность была присуща не всем левым среди французской интеллектуальной элиты, и такие философы, как Мишель Фуко, Жак Деррида и другие, называясь левыми, на самом деле как раз критиковали социализм, благодаря чему остаются популярны у правого политического крыла.

шанс. Но снова Ми Хи ее не оценила — и снова только фыркнула из-за ее наивности. Есть люди, которые знают коммунизм только по книгам, думала Ми Хи. Для них «нищета» — это слово на странице, а не голод в брюхе. И разглагольствуют на подобные темы они зачастую громче всех. Ми Хи поцокала языком и горько улыбнулась.

В кабинете Ми Хи и пастор работали в основном молча.

Но если заговаривали, то быстро переходили на личное. Похоже, в этом заключалось особое умение Руссо — легко втягивать других в паутину беседы, когда хочешь не хочешь, а раскроешь душу.

— Никогда не задумывались, как я узнал, что вы умеете печатать, госпожа Пэ? — спросил однажды пастор. В первый день он заявил, будто в этом призналась она, хотя Ми Хи такого не помнила. — Вы сказали, что до брака работали секретаршей пропагандиста на местной радиостанции. А главная работа секретарши — печать и корректура, правильно?

Ми Хи кивнула.

Она не собиралась дарить ему удовольствие и делиться своими тайными мыслями. Конечно нет. Ее целью было сначала втереться в доверие,

показав себя в деле, а потом помалкивать. Она переворачивала привычные роли духовника и исповедующегося — в конце концов, каждому психиатру тоже нужен слушатель.

Через неделю она печатала под его диктовку воскресную проповедь о доверии. Проповедь была основана на судьбе жены Лота из Книги Бытия. Описывая знаменитую сцену, в которой жена Лота оглядывается на Содом и превращается в соляной столп, он замолчал. А потом задал Ми Хи очередной странный вопрос.

— Знаете, когда я решил, что вам можно доверять? — спросил он с улыбкой.

Она спрятала глаза — ее глодало чувство вины.

Пастор сказал, это случилось в их первую же встречу, когда она вкратце рассказывала о своей жизни.

— Вы первая беженка, которая на первой же встрече призналась, что была проституткой.

Он сказал, что знал: проституция — одно из немногих средств выживания женщин, сбежавших из Северной Кореи в Китай. Руссо не осуждал тех, кто на это шел: скорее всего, на их месте он поступил бы так же. Но его восхитила ее честность, ее дерзкий отказ оправдываться или раскаиваться в том, на что ей пришлось пойти. Он

редко замечал такое в людях с похожим опытом.

— Для этого нужна смелость, правда? Не стыдиться своего прошлого, того, кто ты есть, — говорил Руссо

— Бог любит всех, — ответила она. — Мария Магдалина — не исключение.

Сложив руки на груди, пастор отвернулся. Глубоко вздохнул, чуть опустив плечи. Ми Хи чувствовала себя неловко, как в тот раз, когда перед ней разрыдалась Сон Ми. Тем вечером пастор перед уходом попрощался, улыбнувшись и крепко сжав ей плечо.

Ми Хи приросла к стулу и не шевелилась еще долго после того, как он ушел.

А в голове роилось и путалось множество мыслей.

Начать с того, что она не знала, как все это понимать. Ясно, что она завоевала доверие пастора Руссо. «Но чего он теперь от меня хочет, после того как все это рассказал? — гадала она. — И смогла бы я так же откровенно говорить о своем прошлом в борделе, если бы это было правдой?» Эта мысль вернула ее к первым дням в церкви «Новая жизнь». К вопросу, которым она задавалась, глядя на натертую ногу: «Как далеко готова зайти ради миссии агент Ми Хи — терпеть боль,

пожертвовать своим телом?» Она все еще чувствовала прикосновение пастора на плече. Вдруг от запаха плесневелой бумаги — знакомого и любимого с детства — внутри все перевернулось. Ми Хи вышла из кабинета.

На следующий день был вторник, ее выходной. Она отправилась в шэньянский парк Дунлинь, почти в часе пешком от церкви. Дунлинь был одним из крупнейших и самых безлюдных парков в городе, там бы она не налетела на знакомых из церкви. Днем в этом парке катались на велосипедах дети или занимались тай-чи пожилые пары. «По ночам в северо-западном углу парка собираются геи, — говорил товарищ Чха. — Устраивают свои игрища в сосновой роще за общественным туалетом». Туда она и пришла тем вечером, в час между днем и ночью, когда парк обычно пустеет; пришла, чтобы забрать свою первую посылку.

За рощей вдоль северо-западной каменной стены была узкая тропинка, скрытая от посторонних взглядов. Ми Хи села на пятую лавочку с северного конца — условленное место. Пощупала под ней и достала пакет в манильском конверте — ее первую передачу. Товарищ Чха советовал узнать парк как свои пять пальцев, потому что в нем будут совершаться почти все тайные контакты.

«Педики же к тебе не подойдут», — пробормотал он без обиняков. Ми Хи знала, что ночной контакт — это крайняя мера для внедренного агента, отчаянный поступок, который ставит под угрозу обе стороны. Ми Хи молилась, чтобы до этого не дошло.

Она не ждала письменных указаний. Ей полагалось сразу понять, что делать с переданным предметом. В бежевой обертке оказались маска и маленький металлический баллончик. Через три дня пастор Руссо собирался в Яньбянь, посетить молодые протестантские церкви, с которыми сотрудничала церковь «Новая жизнь». В ночь перед его отъездом Ми Хи, надев маску, сбрызнула содержимым металлического флакона его одежду, чемодан и туфли. «Радиоактивный порошок, — учил товарищ Чха. — Низкая концентрация, чтобы избежать отравления, но достаточно высокая, чтобы уловили счетчики Гейгера агентов ГБР». Ми Хи поняла: они собирались проследить за ним в Яньбяне — или куда он там собирался.

Три следующие ночи она провела без сна, глядя на свою дверь. Поведение пастора в кабинете никак не отличалось от прежнего. Но теперь она замечала мелочи, невидимые раньше: его неуклюже большие жилистые запястья; шею, ко-

торая, когда он потягивался и зевал, становилась шире и тверже под затылком, будто у ротвейлера. Неприкрытые детали тела взрослого мужчины, отвратительные и притягательные. Как и большинство кореянок ее возраста, не побывавших в браке, она почти ничего не знала о сексе. Ее единственный опыт был с «бутылкой», которую ей дал товарищ Чха. Вручая ее, товарищ Чха — как правило, человек невозмутимый — покраснел до кончиков волос. Длинный предмет похожий на небольшую винную бутылку, с горлышком, покрытым гладкой резиной. Он велел ей практиковаться. «Сначала чтобы лишиться плевы, потом — чтобы привыкнуть», — пробормотал он, не глядя на предмет, будто он заразный. Ми Хи не задавала вопросов. Просто делала, как приказано.

Каждый вечер пастор прощался, еще сидя за столом, ломившимся от стопок бумаги.

— У меня еще есть работа перед поездкой, — говорил он кратко.

Лежа в кровати, она смотрела на дверь. Ее спальня, наспех переделанная из кладовки, находилась в конце коридора — всего в двадцати шагах от кабинета пастора Руссо. От малейшего шороха ей казалось, что она видит тень, нависа-

ющую с той стороны над дверью, — неповоротливого монстра, что растопчет все ее уважение к пастору. Но скоро тень улетучивалась, оставляя дверь все такой же одинокой и тихой. На третью, последнюю ночь перед его отъездом Ми Хи наконец поняла, что то, чего она ожидала, так и не случится, и провалилась в глубокий сон. Хотя во сне преобладало облегчение, где-то под ним крылся слабый оттенок разочарования — слишком тонкий, чтобы заметило ее сознание.

Ми Хи проснулась перед самым рассветом и проникла в кабинет пастора выполнить свое первое задание. На ней были маска и резиновые перчатки, позаимствованные из шкафа дьяконицы Кан. Ми Хи замешкалась на секунду перед тем, как отвинтить крышку баллончика, но сделала все как надо. Впрочем, по своему обыкновению, она импровизировала: вместо того, чтобы покрыть радиоактивным порошком все пальто, она ограничилась полами, чтобы владелец случайно не вдохнул его и не коснулся руками. По той же причине она оставила чистыми ручки чемодана и шнурки.

Без пастора Руссо у Ми Хи освободилось много времени. Она читала книги из его кабинета. Три раза в неделю ходила в парк Дунлинь. Навещала с

поддельными документами соседние китайские рынки, чтобы освежить разговорный мандаринский. Прогуливаясь по парку, она повторяла длинный список кодовых сигналов, заученный наизусть: например, апельсиновая шкурка на месте контакта значила «Я в опасности»; кожура от личи — «Завтра уезжаю из страны»; ветка в форме рогатки — «Срочно нужен контакт сегодня ночью». Она всегда проверяла тайник — пятую скамью от северного конца тропинки, идущей вдоль северо-западной стены, — не только для того, чтобы не пропустить сигнал или передачу, но и чтобы отогнать незваных гостей вроде белок, которые могли нарушить коммуникацию, нанеся свой сор.

А еще, гуляя по парку, она думала о пасторе Руссо. «Как же плохо я его знаю», — вдруг поняла Ми Хи. Она не имела ни малейшего представления о его личной жизни. С кем он общается в свободное время? Какие-то случайные люди из ГБР это уже выяснили, проследив за ним с мини-счетчиком Гейгера. Она даже, как ни странно, заревновала к этим безликим агентам. Она работала с Адрие-ном Руссо лицом к лицу каждый день, но узнала лишь совсем немного. ГБР держала каждого агента в его собственной оболочке секретности,

позволяя касаться только своей части «слона»: здесь — широкий веер уха, там — змеиный шланг хобота, дальше — необъятная колонна ноги. Но всю картину целиком видело только руководство. «Надежный шпион — мертвый шпион, — такой шуткой ГБР однажды поделился товарищ Чха. — Потому что только мертвый не предаст», — добавил он с ледяным смешком.

Однажды Ми Хи спросила маму, общалась ли она с кем-нибудь, с кем общаться запрещено. Она кивнула.

— На первом же задании, конечно. Это обычно бывает в начале, милая, — ответила она. Дело было в Пхаджу, в южнокорейском районе у тридцать восьмой параллели, где она собирала разведданные об американской армии, расположенной на южной стороне границы. — Я притворялась сумасшедшей девочкой, сиротой, чтобы ходить где вздумается, и меня почти никто не трогал.

Но мальчишки в деревне не оставляли ее в покое. Издевались, как могут только мальчишки в этом возрасте. Бедняжки, говорила о них мама, их лишили детства замученные войной родители.

— Но был один паренек, с таким же жестоким отцом, как мой, и вот он каким-то чудом сохранил невинность, — прошептала мама. Тот

мальчишка, хоть и тщетно, старался защитить ее от летящих камней, приносил ей на порог рыбу, которую ловил в Имджингане, чтобы она не голодала, однажды даже подарил букетик полевых цветов.

— А однажды, после сезона дождей, я нашла его у себя на пороге в крови и без сознания. — Даже зная, что может выдать себя, она на руках отнесла его в ближайшую больницу. Ее ханбок весь пропитался его кровью. — Мальчишка, к моей великой радости, выжил, и скоро мне пришлось уехать.

По словам мамы, он наступил на противопехотную мину, заложенную американцами во время Корейской войны. Ее вынесло на берег после ливня.

Ми Хи восприняла эту историю как негласное разрешение принимать самостоятельные решения, если речь шла о незаметных мелочах.

— Ни ты, ни я не трудимся во славу Партии. — Мама понизила голос до шепота.

И она, конечно, права, думала Ми Хи. Ми Хи — вовсе не юная революционерка и воительница, кем ее считают в Партии. С виду она и не стремилась в ГБР, ведь это в любом случае не то место, куда можно просто подать резюме, — они сами

приходят к тебе. Но Ми Хи постаралась обратить на себя их внимание. Она была превосходной кандидаткой, которые им и нужны: лучшая на своем курсе в пхеньянском Университете иностранных языков, в двадцать лет уже в совершенстве владела тремя языками. Безупречный послужной список. Мать — важная предпринимательница, отец — бывший портной ключевых партийных работников. Она знала, что такую возможность они не упустят.

Для Ми Хи шпионская работа была билетом к бунту, о котором она так мечтала. Секреты и обман, главные элементы шпионажа, уже были у нее в крови. Вокруг нее все жили с секретами, обманывая друг друга с самыми разными целями, и хорошими, и плохими. Она с ранних лет поняла, что ее родители — не те, за кого она их принимала. Однажды малышка Ми Хи нашла в стене за старым каштановым шкафом в отцовском кабинете сейф. Она годами наблюдала, как через него проходит всякая всячина: запрещенные американские романы с обложками, подмененными на русские; нелегальные копии кассет с южнокорейской поп-музыкой; настоящие виниловые пластинки британских групп, которые мама добывала в деловых поездках,

на каждый папин день рождения. Ми Хи, как и родители, была тайной бунтовщицей. И мама это заметила — увидела ее насквозь, поняла, что ее любопытство не унять. И тогда вместо того, чтобы пресечь его на корню, научила им управлять.

Шпионская карьера обещала путешествия или даже жизнь за границей, о чем другим северокорейцам оставалось только мечтать. А еще это был путь к безграничной власти — особому влиянию, у которого не будет ни свидетелей, ни критиков, а значит, и большой ответственности. В самый раз для такого человека, как Ми Хи: лукавой снобки, втайне гордящейся своим интеллектуальным превосходством, чувством, будто знает что-то важное, о чем никто вокруг не подозревает. К тому же ее искушал обман — хоть за ним неизбежной тенью и следовало чувство вины.

РУССО

Но что она знает обо мне?

Сколько правды я ей открыл?

Руссо. Фамилия моей семьи.

Один из наших первых дней в Шэньяне. Сон Ми ни с того ни с сего спросила, не родственник ли я Жан-Жака Руссо. Сначала я чуть было не расхохотался из-за ее наивности. Милое недора-

зумение, из-за которого я полюбил ее еще больше. Но скоро я осознал кое-что еще и уже удивился: она знала западного философа, о котором большинство северокорейцев, скорее всего, слыхом не слыхивали. Собственно, меня тоже подмывало ее впечатлить: я уже представлял, как с гордостью подтвержу ее догадку: «Да, родственник», нежась в лучах славы кого-то известнее меня. Но, конечно, в конце концов я ответил так честно, как мог: просто Руссо — очень распространенная французская фамилия. Если бы она жила во Франции, сказал я, она бы встретила еще много Руссо. Она пожала плечами и пробормотала под нос, что другие Руссо ей не нужны. Вскоре она ушла из кабинета, так и не ответив на мой удивленный взгляд.

Пастор. Мое звание. Все в шэньянской церкви называли меня пастором.

Но формально я им не был.

Все началось из-за корейского слова «тхондосаним». «Тхондоса» — это общий термин, который существует только в лексиконе корейской протестантской церкви и может обозначать в зависимости от контекста священника, миссионера или проповедника. В теории «тхондоса» называли только тех, что учился в семинарии

на пастора, но на практике это звание получали многие руководители церковных молодежных групп за усердный труд в сообществе или по милости влиятельных старейшин. Лично меня в церкви называли «тхондоса-ним» за работу с молодежью и северокорейскими беженцами. Я хорошо справлялся — помогал беженцам находить временный приют, учил Библии. О нас быстро разошлась весть, в церковь приходило все больше людей — кто-то из любопытства, другие — в отчаянной надежде сбежать к новой жизни. Через пару лет меня привыкли называть пастором, ведь в корейской церкви тхондоса через какое-то время становились пасторами. Но я отказывался от этого звания, потому что не был рукоположен и даже не учился в семинарии. Сначала я каждый раз поправлял. Но самое интересное в прозвищах то, что человек не имеет над ними власти: их выбирают и наделяют своим смыслом другие. Несмотря на все мое сопротивление, словечко прижилось, и так я стал Роосо моксаним — пастором Руссо.

Но Сон Ми я сказал правду сразу. «Формально я не пастор, — признался я, наверное, на второй же день нашей работы в кабинете, когда она печатала и вычитывала мою проповедь на ко-

рейском. — Поэтому можешь звать меня мистер Руссо. Или просто Ру — это кратко и мило, вполне по-корейски. Ведь у всех корейских фамилий только один слог, да?»

К моему удивлению, Сон Ми и правда время от времени называла меня Ру, в основном за работой в кабинете, когда мы были одни. Но в присутствии других я всегда был пастором Руссо. Потом, когда мы с ней начали встречаться, она стала звать меня по имени — Адриен. И уже редко называла Ру. Это ласковое имя сорвалось с ее губ всего раз: в постели, когда мы занимались любовью в нашей первой сеульской квартире. Мы лежали друг у друга в объятиях, приходя в себя. Она начала медленно поглаживать мои взмокшие волосы, провела пальцем по лбу, носу до подбородка. «Ру-у-у-у, — промурчала она, растягивая слог, словно сладкую карамель. — Ты прекрасен», — сказала она со слабой улыбкой. Один из редких моментов в жизни, когда я думал: «Теперь можно и умереть».

Хо Ён. Мое раскаяние.

Мое главное раскаяние. И последний вопрос, который я слишком боялся задать.

Я никогда не говорил Сон Ми правду о Хо Ёне. Мой единственный секрет от нее.

Или я так думал.

Могла ли Сон Ми узнать, что случилось у нас с Хо Ёном?

Не из-за этого ли она исчезла?

МИ ХИ

По пути к парку Дунлинь она думала, как далеко готова зайти ради задания. Представила себе очередную посылку, приклеенную под пятой скамейкой, в ее тайнике. А внутри конверта — M191145-го калибра, он же «кольт гавернмент», шестизарядник с глушителем. «Ничего страшнее они потребовать не могут, — думала Ми Хи. — Но смогу ли я всадить пулю в голову пастору Руссо?» На это она ответить не могла. Могла только надеяться, что никогда не найдет такую посылку под скамьей.

Но в тот вечер она нашла кое-что другое. Две деревянные зубочистки, одна на другой, в форме крестика. Послание, которого она не ожидала, особенно в тот день, когда пастор Руссо еще не вернулся из поездки. «Встреча завтра вечером», — если она правильно помнила шифр. Сердце забилось быстрее. Предпочтение всегда отдавалось передаче или краткому контакту. Встреча лицом к лицу происходила, только когда

не было другого выхода. В мыслях уже плясали десятки возможностей — и хороших, и плохих, и одна особенно ужасная. Зловещее чувство дежавю, словно воображение могло воплотить страх в реальность. Товарищ Чха предупреждал, что встречи будут редкими, только в случае совершенно секретных заданий или доставки важных предметов: «Большие суммы денег или дорогое оружие, которым мы не можем рисковать».

«Чем ты там занимался в Яньбяне?» — гадала Ми Хи. Чем-то настолько опасным, что поставил себя под удар? Остаток дня прошел в тревожной горячке, из уголка глаза, словно ячмень, никак не пропадал яркий образ культа. Она знал, что от переживаний пользы нет, но не могла удержаться от того, чтобы думать наперед, перебирать немногие варианты действий. Если они правда планируют убить пастора Руссо, после миссии ее наверняка вызовут обратно в Пхеньян, а этого ей хотелось меньше всего на свете. Не будет помощи от церкви «Новая жизнь», не будет переезда в Южную Корею в ближайшем будущем. Хотя никаких доказательств не было, она верила обещанию пастора перевезти ее через границу. Она думала, сможет ли переубедить товарища Чха, попросить пересмотреть цену и последствия их

плана. Но это казалось невозможным.

Ми Хи пришла на место контакта ровно в десять. Но, вопреки ее ожиданиям, лавка была пуста. Когда она приблизилась, чтобы заглянуть под нее, две черные руки схватили ее за талию.

— Иди до конца тропинки, — произнес тихий женский голос.

Ми Хи с незнакомкой шли молча, рука об руку, словно сестры или близкие подруги, до самого южного конца тропинки. Там женщина жестом велела сесть на скамейку. Какой у нее обманчивый вид, непривлекательный и неказистый, думала Ми Хи. Если бы они сидели рядом в автобусе или на скамье во время воскресной службы, она никогда бы не заподозрила в ней агента ГБР.

Не представившись, женщина перешла к делу: достала фотографию — черно-белую, зернистую — и положила Ми Хи на колени.

— Видела его? — спросила она, на секунду включив фонарик.

Улыбающийся парень с прямыми черными волосами.

— Нет, — ответила Ми Хи.

— У него могла измениться прическа. Светлые волосы, кудрявые? — спросила она снова.

Но Ми Хи все еще не могла его вспомнить.

— Тогда запомни лицо и, если его увидишь, обращай внимание на все, что он скажет и сделает.

— Кто это?

Агент пронзила ее ледяным взглядом.

— Я справлюсь лучше, если буду знать, кто он, чем занимается и как связан с пастором Руссо, — не смутилась Ми Хи.

Все так же ядовито, холодно глядя на нее, женщина медленно произнесла с напускным раздражением:

— Спрашивать ты можешь что хочешь, но я могу сообщить только то, что положено. И это следующее: этот человек — журналист, работал в «Вашингтон пост», теперь — в «Нью-Йорк таймс». Имя — Нейтан Цукерман.

— Американец? — Ми Хи в недоумении поднесла фотографию ближе к глазам.

— Отец — американский еврей, мать — китайская иммигрантка, — ответила женщина. — На этой фотографии он больше похож на азиата, потому что распрямил волосы и покрасился в черный. На самом деле он русый и кудрявый.

«Журналист — классическое прикрытие легальных агентов за границей, — подумала Ми Хи, — как дипломат или бизнесмен. Американский журналист смешанного происхождения,

перекрасившийся под китайца».

— Значит, мы подозреваем, что это куратор пастора Руссо? А пастор — его агент?

— Во время поездки пастор Руссо встречался с ним три раза, — продолжила женщина. — Мы пытались подобраться к ним в кафе, подслушать, но они что-то почуяли и ушли. Они очень осторожны и внимательны. Потом они направились в гостиничный номер, и нам пришлось прекратить слежку. Каждый раз одно и то же. Приходят в кафе, ресторан, но, как только мы пытаемся приблизиться, сразу удаляются в уединенное место, где мы уже не можем за ними проследить. Вот тут-то ты и пригодишься. — Женщина протянула Ми Хи белый пластмассовый футляр.

Ми Хи открыла. Внутри оказалось что-то из серебристого металла, прямоугольное со скругленными краями, не больше ее ногтя большого пальца. Ми Хи с первого взгляда поняла, что должна установить этот микрофон в телефонную трубку пастора Руссо.

— Как мне к вам обращаться? — бросила Ми Хи в спину уже уходившей женщине.

Та медленно оглянулась.

— Он предупреждал, что ты будешь задавать много вопросов, — пробормотала она. — Лучше

бросай эту привычку. Придет время, когда тебя не спасет даже имя твоей матери.

Ми Хи смотрела на удаляющуюся широкую спину. Полы черного пальто задели край скамьи. Ее невысокое крепкое тело ковыляло в ночь, как пингвин — и смешно, и жутко.

На следующий день вернулся пастор Руссо.

Ми Хи сама удивилась, как ему обрадовалась. Его возвращение означало, что ей больше не придется делить его с незнакомцами из ГБР. Главной свидетельницей его жизни вновь станет она. Глядя ему в лицо, она представляла, как он бы оторопел, если бы услышал ее безупречный американский английский. От этой шальной мысли она не удержалась от озорной улыбки.

Пастор Руссо протянул большую красную коробку. Сувенир, сказал он.

— Правда, ненастоящие, — добавил он застенчиво. — Сейчас в этой стране невозможно найти настоящие.

Там оказались кроссовки «Найки». Классические белые, с красной полоской на боку, белыми подошвами, на которых тянулись сужающиеся голубые линии. Ми Хи вспомнила, что видела их в подземном учебном лагере в Пхеньяне. Новенькие и блестящие, на ногах актера мас-

совки, который исполнял роль южнокорейского пешехода на улице Мёндон. У отца Ми Хи тоже были «Найки» — черные, с белыми полосками. Оригинальные — мама привезла их тайком из деловой поездки.

— Я заметил, что твои уже пора сменить, Сон Ми, — тихо произнес Руссо, взглянув на ее ноги.

Ми Хи опустила глаза и впервые заметила, что стоптала обувь до безобразия. Ее кроссовки тоже когда-то были белыми, но теперь стали землисто-желтыми. Резиновые мыски стерлись, как ластики, — можно было разглядеть форму ногтей. Тайные свидетели ее тяжелой работы, всех ее прогулок в парк Дунлинь и обратно. Его внимательность и пугала, и трогала.

— Не понимаю, — прошептала она, зардевшись.

— Чего? — Руссо смотрел на нее твердо.

Она ответила тем же.

— Люди говорят, что вы помогаете беженцам, вывозите их из страны, но при этом вы холодный человек. — Ми Хи прищурилась и поджала губы. — Но это неправда.

— Думаешь, я со всеми такой разговорчивый? — спросил Руссо, и в его голосе тихо прозвучала жесткость.

«Видимо, нет», — подумала Ми Хи. Даже дьяконица Кан когда-то спрашивала, как у нее получилось его разговорить.

— Я тебе не рассказывал, что работал с собаками? — вдруг выпалил Руссо.

Ми Хи медленно покачала головой.

Их окутало тяжелое молчание. С каждым выдохом она слышала, как у нее в носу шелестит дыхание.

Руссо машинально подогнул указательный палец, поднес к верхней губе и сделал глубокий вдох, будто курил. Ми Хи удивилась, задумалась, не был ли он в прошлом курильщиком. Очередная его черта, которой она не замечала.

— Когда я был подростком, — наконец прошептал Руссо, прикрыв глаза, — мне вечно не хватало денег, поэтому я устроился в питомник в Льюистоне — в то время только там были готовы взять на подработку мальчишку с иностранной внешностью. В основном там держали бездомных собак. На мне была чистка клеток и кормежка. — Из его голоса пропали все привычные пасторские черты. Не слышался авторитет, интонация стала мягкой и ненавязчивой, как у колыбельной. Так и хотелось свернуться калачиком. — Тот питомник научил меня многому. Там я познакомился

с Джейсоном, моим начальником. Ирландец американского происхождения, рыжий, сложен как пикап. Несло от него, как от свиновода, и рукопожатие всегда было потным и энергичным. На работе он на нас даже не смотрел — и полслова не скажет. Совсем не как я себе представлял. Я-то думал, там будет блондинка лет сорока, в обнимку со щеночками, с доброй и сияющей американской улыбкой — как на пачке хлопьев или брошюре страховой компании. — Он беззлобно засмеялся. — Когда Джейсон спросил, почему я хочу там работать, я ответил, что люблю собак. А он, не поведя и бровью, отрезал, что в его питомнике нет места для любви. — Руссо замолк.

Ми Хи слышала, как над ними шуршит электрический вентилятор. Его тихий скулеж то нарастал, то угасал. Ей хотелось лечь, положив голову на колени Руссо.

— По мнению Джейсона, демонстрация любви — это роскошь, которую могут позволить только хозяева. А когда у тебя сотня собак и всех надо каждый день кормить, мыть и выгуливать, места для любви уже не остается. — Его голос звучал словно издалека.

Ми Хи представляла, как запускает пальцы в его волосы, гладит, как большую собаку. Его

добрые глаза с опущенными уголками всегда напоминали ей о золотистом ретривере.

— Джейсон сказал, что добрые слезы и ангельские улыбки из рекламы спасательных центров или ЮНИСЕФ — это для голливудских актеров, для тех, кто раз в год заглядывает в африканский приют. А настоящие работники и спасатели — это те, кто каждый день видит смерть, издевательства и болезни, это те, кто не может себе позволить тратить время и силы на слезы. На тебя день за днем смотрят сотни маленьких глаз — просят еды, объятий, хотят выжить. Тут надо быть роботом, чтобы просто механически спасать как можно больше жизней. Нельзя показывать чувства, любовь ко всем и сразу, потому что любовь ко всем — это все равно что любовь ни к кому, как говорил Джейсон. А любить некоторых — это отказаться от всех остальных.

Какое-то время он сидел молча. Уголки его глаз и кончик носа покраснели. Голос стал хриплым, опустился до насыщенного баритона — одно удовольствие слушать.

Ми Хи следила, как ходит его кадык, как его пальцы убирают волосы со лба. «Корица», его французский лосьон после бритья, в темно-зеленом флаконе. Из-за него от кожи пастора смутно

веяло корицей и мандарином, подумала она.

— Но и он был человечным. Я знал, что у него есть любимец.

А как это будет на вкус?

— Золотистый ретривер, которого Джейсон в конце концов назвал Мокси. Дружелюбный до невозможности, даже после долгих лет издевательств хозяина. Джейсон забрал его себе. И потом забрал еще пять собак.

Хотелось схватить Руссо за воротник, тереться о него лицом. Хотелось, чтобы ее запах остался на нем, а его — на ней.

— Почему только пять? — спросила она, перескакивая от одной мысли к другой.

— Джейсон думал, что, если у тебя больше семи собак, уже невозможно всех любить и обо всех заботиться одинаково. Если хочешь больше, то либо ты безответственный, либо тебе пора открыть приют.

— Значит, до Мокси у него уже была собака? — спросила она с напускным спокойствием.

— Да, — Руссо улыбнулся. «А ты внимательно слушаешь», — как будто говорил его взгляд.

В ее висках тикало, будто часы. Хотелось выключить все мысли.

— Знаешь, что самое забавное? — спросил

Руссо.

Ми Хи не очень интересовал ответ. Ее руки уже держали его лицо. Хотелось встретиться с ним губами, но она не знала как да и боялась, что он рассмеется. И вместо этого они встретились взглядами. Ноги подогнулись — Ми Хи так и упала бы на пол, если бы не его руки. Он подхватил ее, но казалось, что она продолжает падать. Она тяжело дышала. Его хватка превратилась в объятие. Ее сердце стучало где-то ниже живота.

— Идем в молельную. Там никого нет, — сказала она.

Теперь она чувствовала, как бьется и его сердце.

РУССО

Хо Ён. Мое раскаяние.

Я познакомился с Хо Ёном в Корнелле, на своей первой лекции французской философии.

Мы тут же сошлись. Основная специальность обоих — французский, одинаковые вкусы в литературе и музыке, а самое главное — мы были единственными студентами смешанного происхождения на курсе.

Хо Ён — низкий и худой, с длинными вьющимися русыми волосами. Я — высокий, широко-

плечий. И когда мы шли по кампусу бок о бок, склонившись друг к другу в разговоре, нас часто принимали за парочку. Он родился в семье китайской иммигрантки и польского еврея, которым принадлежала швейная фабрика в Калифорнии. Такой же дар к языкам, как у меня. Когда мы познакомились, он уже знал на разговорном уровне китайский и иврит, а в колледже освоил и французский. Потом, когда мы снова встретились в Китае, он уже совершенствовал корейский и упоминал, что его новая девушка из Кореи. Хо Ён — один из немногих в моей жизни, кто никогда меня не спрашивал, округлив глаза: «И откуда ты так хорошо знаешь иностранные языки?»

Хо Ён был непохож ни на кого из моих знакомых: единственный парень смешанного происхождения, который чувствовал себя в двойной шкуре как в своей тарелке. Собственно, он даже радовался гетерогенности, старался выжимать из нее максимум. Хотя на самом деле у него было очень американо-еврейское имя, — Нейтан Цукерман, по выбору отца; мне он представился Ван Хо Ён.

— Так же это произносите вы, корейцы? — подмигнул он. — Я этому научился у милой кореяночки, с которой познакомился на вече-

ринке КСА[42].

Студенты-китайцы знали его как Ван Хаожаня, так же его называла мама (Ван — ее девичья фамилия). Студентам-евреям он всегда представлялся полным официальным именем, Нейтан Цукерман, а для всех остальных был просто Нейт.

Это был человек-хамелеон. Его поведение и настроение резко менялись в зависимости от того, с кем он общался и на каком языке. С белыми парнями он говорил медленно, но громко, часто размахивал руками и хохотал от души — гулко, будто гудок поезда в туннеле. На китайском он тараторил, голос становился выше и напевнее, зато руки при этом не двигались. Переключаясь на иврит, он вдруг мрачнел, становился несколько скрытнее и печальнее; может, у меня такое впечатление сложилось из-за того, что я из всего его репертуара языков не понимал как раз иврит. В каждой компании он подшучивал над другой, которая не присутствовала, чтобы временно дистанцироваться от них. «Хорошие шутки на расовые темы — лучший способ подружиться в Америке», — частенько говорил он мне.

Он состоял в трех разных студенческих ассо-

---

[42] Примечания: 42
КСА — Корейская студенческая ассоциация.

циациях: братстве белых студентов с названием, которое начиналось на букву «фи», Ассоциации китайских студентов и «Гилель», еврейской, — причем казалось, он во всех чувствовал себя как дома. Он умел вписаться куда угодно. Сначала я никак не мог привыкнуть к его неуловимому характеру. Потом со временем осознал, как это раскрепощает человека; это стало привлекать и радовать. Я-то всегда считал, что, когда у тебя двойное происхождение, надо прочно выбрать одну сторону, иначе нигде не будешь своим до конца. И я в детстве сделал очевидный выбор — стал американцем, всячески скрывал корейское или французское наследие. Но Хо Ён не прятал свою двойственность, а пользовался ею как мог. Принимал ее и считал за преимущество. Он мог быть кем угодно по желанию, без стыда или колебаний. Наверное, эта простецкая бесстыжая уверенность и привлекала к нему женщин: хоть его было не назвать красавцем, он всегда без труда находил себе пару.

Это Хо Ён привел меня в мир Эме Аделя. Он уже был большим поклонником философа, когда я только начал читать первый роман по учебе. Хо ён сказал, это Адель распахнул для него двери к новым возможностям.

— Эме Адель — один из первых интеллектуалов своего поколения, который прославился в своей области в Европе, несмотря на смешанное происхождение, который заставил других прислушаться и уважать его, — сказал Хо Ён. — Благодаря ему чужаки и дворняжки вроде нас с тобой, Адриен, знают, что чего-то стоят.

Но я удивился, увидев фотографию Аделя.

— Ну, на нас с тобой он явно не похож, — сказал я и из любопытства спросил, насколько Адель в действительности афроараб.

Хо Ён ответил гулким смехом, который припасал для белых друзей из братства, и сказал, что суть совсем не в мере экзотичности.

— Я говорю о том, что Адель хотел и умел пользоваться своим происхождением как захочется. Вот что главное.

Встретившись с Хо Ёном много лет спустя после колледжа, в Китае, я его не узнал. Его характерные длинные кудрявые волосы цвета табака, ниспадавшие до ключиц, теперь не опускались ниже ушей. Стали прямые, колючие и черные, как у многих мужчин из Восточной Азии. Хо Ён сказал, что выпрямил и покрасил волосы перед поездкой в Китай, чтобы сливаться с местными.

— Я теперь журналист в коммунистической

стране, — прошептал он с вороватой улыбкой, — и мне меньше всего хочется привлекать еще больше внимания, чем уже есть.

По его словам, вблизи люди все равно видели, что он иностранец, зато он легко мог проскользнуть через толчею на улице незамеченным.

— С моим еврейским афро это был бы дохлый номер. — Хо Ён цокнул языком и хохотнул.

Но поменял он не только этнос.

Под конец первого курса я впервые курил траву. Ее принес в общежитие Хо Ён, в пятницу вечером, когда узнал, что я еще ни разу не пробовал. Там почти никого не было — все разошлись на разные вечеринки в честь конца учебного года. Я наслаждался редкой тишиной. Было приятно слышать ленивое эхо собственного смеха. Мы вели бессмысленный разговор и хихикали, пока из носа не потекло. Потягивая водку из большой кружки от газировки «Биг Галп», Хо Ён в который раз начал расспрашивать о Бренде — моей тогдашней подружке, с которой мы то сходились, то расходились. Спрашивал, как далеко мы с ней зашли, какая она в постели.

— Ты так себя ведешь, будто не просекаешь, что ты красавец. Почему? — пробормотал он. — Так себя ведешь, будто это вообще неважно. Бесит.

Проголодавшись, мы жевали кубики льда, которые он принес для водки из холодильника. Он слишком сильно ткнул меня локтем под ребра, я выдавил смешок, который перешел в общий беззвучный нескончаемый смех. А потом я почувствовал его ледяной язык на моем, у себя между губ и зубов. Сначала я ничего не делал. Я с трудом соображал. Видимо, он наконец сообразил, что мне это неинтересно. Помню, как он внезапно отстранился. Я боялся, что ему будет стыдно, но он сел обратно как ни в чем не бывало. Потом сказал, что ему надо в туалет. А когда вернулся, уже снова был тем Хо Ёном, которого я знал всегда, энергичным и саркастичным, и вел себя так, будто сейчас ничего и не случилось. Я подыграл и больше об этом не заговаривал.

Я до сих пор не знаю, чем и зачем занимался Хо Ён, и не узнаю уже никогда.

Когда я спросил, он ответил вопросом: знаю ли я Майкла Фута.

— К сожалению, больше я тебе сказать не могу, — сказал он и повесил трубку.

Майкл Фут — британский журналист и политик, лидер лейбористской партии и предполагаемый шпион КГБ. По словам руководителя резидентуры КГБ в Лондоне, его агенты не раз

встречались с Футом — он передавал им данные, а они ему время от времени — деньги. До 1986 года в КГБ его считали своим *агентом влияния*.

Но Майкл Фут смотрел на это совсем иначе. Он не знал, что в КГБ его считали своим. Он действительно встречался с агентами, но никогда — втайне, потому что скрывать ему было нечего. Он считал, что, принимая агентов и их взносы, поддерживает прогрессивную политику и дело мира. Фут не нарушал закон. Не выдавал arcana imperii[43]. Не был шпионом.

Шпионаж — понятие растяжимое.

Четких границ никто не прокладывал.

Отношения Хо Ёна с агентством остаются для меня тайной, покрытой мраком. Полноценный агент, с самого начала отобранный и обученный ЦРУ и работавший под прикрытием журналиста? Или журналист, который пошел на взаимовыгодное сотрудничество с ЦРУ, чтобы обмениваться ценными сюжетами и данными? Я никогда не узнаю правды, но все-таки ставлю на последнее.

Знал ли я о его сотрудничестве? Да. Знал.

Но когда именно я понял правду? Не знаю.

Только знаю, что понял, но конкретный момент

---

[43] Примечания: 43
Тайны империи (*лат.*).

назвать не могу. Может, догадывался с самого начала. Может, раскрывал настолько постепенно, что не случилось трагического откровения, как когда я узнал, что Санты не бывает. А может, мне хотелось, чтобы правда так и оставалась где-то на задворках разума.

Границы действительно никогда не были четкими. Вопреки распространенному мнению, шпионаж — дело довольно обыденное. В основном данные добывают не благодаря лихим тайным операциям, а из вроде бы прозаических бесед в кафе и ресторанах. В основном данные добывают не полноценные джеймсы бонды, а скучающие работники в офисных кабинках, безымянные и толстопузые. Да и данные не всегда секретные — скорее мешанина из слухов, газетных и журнальных статей. Часто работа агента — перебирать и подгонять между собой общеизвестные детальки головоломок, выискивать скрытые связи между ними.

Лично я могу наверняка сказать только одно: я был рад снова встретиться со старым другом. Жить, будучи американцем, в северо-восточном закоулке Китая, вдали от тех, кто похож на тебя, может быть довольно одиноко. Я ценил общество своей набожной паствы, но изголодался по

мирским разговорам. Скучал по задумчивым прогулкам по кампусу, философствованиям о девушках, сексе, расе и обо всем, что только в голову взбредет. Мне не хватало человека, с кем можно без колебаний делиться мыслями и чувствами на том языке, на котором мне говорить легче всего, человека, который знает мою предысторию и моих давних демонов. Того, перед кем не надо извиняться или оправдываться.

И когда в Китае на меня вышел Хо Ён, я обрадовался. Мы встречались при любой возможности.

Говорят, и психотерапевтам нужен свой психотерапевт. А отцу-духовнику нужен свой духовник. Выслушивать истории жизней и травм от северо-корейских беженцев — это бесценный и обогащающий опыт, но у него есть своя цена. И тут чудесным образом явился Хо Ён, как из-под земли вырос в унылом однообразии Северо-Восточного Китая, словно специально пришел мне на выручку. Он и стал моим другом, моим психотерапевтом, моим духовником.

Он слушал мои печали и истории. Истории беженцев, которых я смог и не смог спасти, лиц, так ярко вторгавшихся в мои сны. В номерах злачных гостиниц Шэньяна, Яньбяня и Чанбая я изливал наболевшее. Я, бесстыжий грешник,

рыдал у него на руках, словно скорбел о смерти любимой. Впрочем, речь шла не о конкретной смерти. Их было слишком много. Хо Ён это видел и выслушивал без осуждения. В конце концов я догадался, что некоторые мои истории попадают в статьи, которые он писал для «Таймс». И все равно не переживал — доверял нашей дружбе и его тактичности.

Сначала я не понимал важности сведений, которые он от меня получал. Но со временем догадался, что я один из первых в мире собирал данные о Северной Корее из первых рук, от тех, кто только что сбежал из страны. Я знал то, что помогло бы составить самый современный портрет самого закрытого общества в мире. За этими данными охотились многие могущественные страны.

Но ко времени, когда к нам в двери постучалась Сон Ми, я уже выгорел. Работать становилось все сложнее и сложнее. Правительство Северной Кореи закручивало гайки, и в результате с нами почти не сотрудничали надежные китайские посредники. Мне пришлось отказать нескольким беженцам, обратившимся за помощью, — я сомневался, что мы сможем им помочь в новых обстоятельствах, и прежде всего не перенес бы

очередной смерти или исчезновения под моей ответственностью. Мне казалось, я сделал достаточно. Мне отчаянно требовалась передышка. Я подумывал поехать обратно в Америку, может, вернуться на путь к степени профессора литературы.

А потом в мою жизнь благодаря великолепной воле случая ворвалась Сон Ми. И мы влюбились. Переезд в Южную Корею с ней казался началом той жизни, о которой я мечтал.

Я хотел, чтобы ее путь был самым коротким и безопасным. Сон Ми вылетела рейсом «Кореан Эйр» из Даляня. Она притворялась южнокорейской туристкой, которая возвращается домой после выходных на местном популярном курорте. Посредник затребовал в десять раз больше обычного. Вините непредсказуемые политические обстоятельства, сказали мне, к тому же придется украсть и подретушировать настоящий южнокорейский паспорт. Чтобы сойти за кореянку среднего класса, Сон Ми по совету посредника покрасила волосы, сделала маникюр. Брала уроки южнокорейского акцента, хотя это, к счастью, ей давалось легко. Чтобы не вызывать подозрений, другой китаец с южнокорейским паспортом изображал мужа Сон Ми и сопровождал ее до

самого приземления в сеульском аэропорту. Если в таких услугах есть иерархия, говорили мне с ухмылкой, то Сон Ми удостоилась поистине королевского сервиса. И она его заслуживала, потому что я ее любил.

МИ ХИ

Ми Хи никогда не думала, что на главные решения ее жизни повлияют такие обыденные вещи — рождение ребенка и смерть родителя. Как будто она ничем не отличалась от остальных женщин.

Арам родился на месяц раньше срока. Гинеколог сказал, это нормально. «Тридцать шесть недель — не полный срок, но достаточный», — успокаивал он, похлопывая ее по плечу. Потом ей казалось, будто доктор Го ее предал, — она узнала, что медсестре пришлось бежать с мальчиком в отделение интенсивной терапии новорожденных всего через десять минут после того, как доктор Го с педиатром с шутками и смехом отправились из больницы домой. Ми Хи чувствовала себя ужасно. Ей ничего не объясняли, тело ниже талии еще не отошло после эпидуральной анестезии, она лежала одна, беспомощная и бесполезная в послеродовом ступоре. Косатка, выброшенная на

берег и уже никому не страшная.

Все это время с ребенком был Адриен. Это он вместе с медсестрой отнес его в отделение терапии, он оставался с ним, когда медсестра его взвешивала и снимала отпечаток стопы. Это Адриен первым заметил, что у младенца синеют кончики пальцев и ножки. Он последовал за ним в отделение интенсивной терапии. Находился там, когда ребенку надели на лицо кислородную маску, на ножку — кардиомонитор размером с его взрослый большой палец, а в тоненькие, как тюбик помады, ручки тыкали иголками. Все еще оставался там, когда примчался доктор Го и с одышкой попросил его освободить помещение. И тогда ждал перед дверью с матовым стеклом, одновременно взбудораженный и оцепеневший. Услышав из ОИТН детский плач, он возликовал: значит, малыш пришел в сознание. Но когда плач не прекратился и разросся в оглушительный вопль, сердце Адриена провалилось обратно в темную яму, прямо как когда посинели крошечные пальчики. Адриен в жизни не молился так горячо.

Ми Хи увидела младенца в ОИТН намного позже, когда его состояние стало стабильным. Ми Хи не плакала — слезы просто бежали из ее глаз.

Она ничего не могла с ними поделать, как и с беспомощным созданием в инкубаторе, даже во сне сморщившим лобик от боли, словно на него свалилось самое тяжелое горе в мире. Маленькое тельце, которое все называли ее. «Ваш ребенок, госпожа Пэ», — повторяли они, будто она могла об этом забыть. «Если он правда мой, почему я не могу его защитить? Почему не могу вылечить?» — спрашивала она себя оцепенело. Слезы капали на линолеум, одна за другой.

Ми Хи вдруг обнаружила, что ведет переговоры, хоть никакого похитителя и не было. «Если позволишь ему жить и расти, как всем обычным детям, я сделаю что угодно, забери у меня что угодно или навлеки любую другую трагедию — хочешь, отними ноги, отними глаза, можешь даже отнять жизнь, если гарантируешь, что ребенок будет жить нормально; лучше заснуть навсегда, чем бодрствовать, зная, что я ничем не могу помочь моей родной страдающей плоти. — Ми Хи мысленно говорила, сжимая кулак: — Или ты хочешь, чтобы я призналась? Этого ты от меня просишь? Это ерунда! Разоблачусь в мгновение ока, могу сдаться завтра же утром, если гарантируешь, что он выживет, будет здоровым и нормальным».

Через две недели малыша наконец выписали

из ОИТН, и Ми Хи осознала о себе кое-что новенькое: она может молиться. Той ночью в ОИТН она застала себя за своей первой молитвой. Пусть примитивной и эгоистичной, но все равно молитвой от всей души. И, как и те слезы, молитва рвалась из нее, словно сама по себе.

Уложив заснувшего младенца в колыбель, Ми Хи заплакала опять. Ее ошеломила красота этого маленького создания — до сих пор она не успевала ее оценить. Самый маленький, самый красивый, самый устрашающий человечек, что она знала, — тот, кто еще не умел говорить, но уже имел главное право слова в ее жизни.

Адриен сжал ее в объятиях и не отпускал.

— Мне так жаль, — прошептал Адриен хрипло, — из-за того, что случилось с Сын Хо.

Из нее вырвался долгий, мучительный вздох.

Подбородок Ми Хи лежал у него на плече, поэтому она смотрела на его спину.

«С кем?» — чуть не спросила она, поглаживая его спину. Адриен снова вздохнул и обнял ее крепче. И тогда Ми Хи вспомнила.

Сын Хо. Имя сына Сон Ми. Ми Хи его чуть не забыла.

Настоящий сын Сон Ми, скорее всего, еще жил где-то в Северной Корее, но Ми Хи убила его в

своих байках для Адриена, в повести о жизни Сон Ми, отредактированной ради первой встречи в церкви «Новая жизнь». Ми Хи рассказала, будто Сын Хо не протянул долго после рождения. В своем сюжете Ми Хи убила малыша пораньше, чтобы упростить себе работу. Для нее — да и для кого угодно — было непросто под делать опыт воспитания ребенка. И ей не хотелось, чтобы ее материнская некомпетентность раскрыла всю ложь.

Адриен запомнил имя ее несуществующего ребенка, которое она назвала лишь раз, при их первой встрече.

Адриен думал, ее слезы — из-за воспоминаний об утраченном ребенке. Думал, вид второго напомнил о гибели первого.

Адриен проникся этой выдуманной трагедией.

Она чуть не призналась, не сходя с места.

«Я не Сон Ми, я Ми Хи».

Она чувствовала фразу в зубах, словно отрыжку истины. Пришлось сглотнуть ее, подавиться на долю секунды. На глазах выступили слезы, во рту стоял привкус канализации.

«Но моя любовь к тебе — настоящая» — вот что она думала и один раз даже пробовала произнести, прошептала, глядя в зеркало ванной, когда

была одна Это была правда, но слова, сорвавшись с губ. прозвучали дешево, фальшиво.

Ей надо было сделать то, чего она еще не делала никогда: сделать так, чтобы правда прозвучала правдиво.

«Но моя любовь к тебе — настоящая», — репетировала она перед зеркалом.

— Ты не думаешь, что уже пора? — спросила мама, не глядя на Ми Хи.

И вот опять они здесь, на углах одной скамьи, в метре друг от друга, словно на пустой книжной полке. Старая скамейка за заброшенным теннисным кортом в Мемориальном парке Сон Ки Чжона — их обычное место встреч. В первый раз мама задала этот вопрос сразу после рождения внука. «Ты не думаешь, что уже пора, Ми Хи?» — спросила она, но Ми Хи пропустила вопрос мимо ушей. Не хотела отвечать ни «да», ни «нет». Сам ответ уже казался предательством, даже «нет». «Ты не считаешь, что вы с Арамом заслуживаете начать сначала?» — спокойно настаивала мама. Тогда Ми Хи встала и ушла. Теперь мама задала тот же вопрос:

— Ты не думаешь, что уже пора?

Они смотрели перед собой, переговаривались тихо, не двигая губами, словно унылый чре-

вовещатель со своей куклой. Хотя их главным способом общения были тайные послания в письмах, после переезда Ми Хи в Сеул они встречались и вживую, раз в два месяца. Ми Хи продолжала гулять в одиночестве, но теперь в парке Сон Ки Чжона — запустелом парке в тенистом районе Чунним-дон. Парк привлекал только подростков, прогуливавших школу. Заросли зеленеющих кипарисов и самшитовых изгородей укрывали от любопытных глаз, хватало здесь и темно-зеленых уголков, где можно было спрятаться в крайнем случае.

Стоило маме показаться час назад, как Ми Хи поняла, что случилось. Мама пришла на девять минут позже, хотя никогда не опаздывала. Выглядела она изнуренной: две трети волос стали оловянно-серебристыми, словно она за месяц постарела на десяток лет. Какое-то время они сидели молча, с обычной бездной шириной в квадратный метр между ними. Ни одна не плакала, хотя обе знали, что время еще придет — в одиночестве, в ванной, со включенным душем, чтобы заглушить звук.

Мама сказала, что это было мирно. «Умер во сне», как говорят в утешение люди. Кончина, о которой мечтает большинство: без боли, без

криков, просто ночной сон, переходящий в безмятежную смерть. Папа это заслужил, подумала Ми Хи, но вслух не сказала. Боялась, что мама, всегда надежная, как гора, рассыплется прямо на глазах. Ми Хи не хотела этого видеть — не сегодня.

«Он хотя бы пытался узнать, кто ты?» — вот что хотелось спросить на самом деле. Но у Ми Хи уже был ответ: конечно знал. У него было сердце голубя, но это не значило, что и мозги были такими же. Следовательно, спросить следовало: когда именно он узнал?

«Самый большой обман — быть обманутой» — так сказал папа, округляя в форме луны свои и без того круглые оленьи глаза, когда Ми Хи еще была маленькой.

Тогда она вернулась из школы, недоумевая. Показала ему красный ластик: «Ён Чжу опять подарила мне ластик, говорит, ей их присылает папа с Кубы. Как по-твоему, она принимает меня за дурочку?» — спросила Ми Хи. «Нет, милая, — ответил папа. — Она просто хочет с тобой дружить. Такой у нее особенный способ заводить друзей — показать свой интерес».

«Такой особенный способ». Ми Хи задумалась над словами отца. Ён Чжу и правда была особенной девочкой. Из тех, кого остальным детям

хочется не замечать с вежливым безразличием. Но при этом не дурочка, думала Ми Хи. Ён Чжу всегда отвечала на вопросы учителя правильно, умела читать и писать получше многих в классе. Ён Чжу была странной: на уроке постоянно глазела в окно, слишком мечтательная и слишком высокая для своего возраста. И слишком тощая: запястья такие тонкие, того гляди переломятся, как заячьи кости, если схватить покрепче, думала Ми Хи. Ён Чжу была бедной, донашивала чужую одежду с заплатками на локтях и коленях. Цвет кожи — желтый, как моча. И пахло от нее всегда увядшей капустой.

«Он даже не испанский, — сказала Ми Хи, присматриваясь к маленьким черным символам на ластике. — Он не с Кубы. Я точно знаю». Ми Хи делано насупилась и надула губки. «Это кириллица», — тихо ответил папа.

В школе был день семьи. Каждый ученик пять минут рассказывал о своих родных перед всем классом. Когда пришел черед Ён Чжу, она встала за кафедру, вытянувшись по струнке, и объявила, как гордится своим отцом. «Мой отец умный, образованный, — говорила она, так и лучась уверенностью. — Он успешный дипломат и сейчас работает на Кубе».

Сначала Ми Хи оторопела, потом разозлилась. Перевела взгляд на госпожу Бон, добродушную женщину лет сорока пяти, всегда следившую за правилами, ожидая увидеть ту же реакцию. Но госпожа Бон не удивлялась и не сердилась. Она стояла с грустным видом. И молча позволила Ён Чжу вернуться на место — без вопросов, без упреков.

Госпожа Бон получше многих знала, что Ён Чжу врет. Ее отец был не на Кубе — ее отец был в трудовом лагере. Почти весь город знал, что его поймали за кражей лекарств из общественной больницы, где он работал уборщиком. Любой здравомыслящий человек в городе, включая, конечно, и Ми Хи, знал, что у ее семьи очень низкий сонбун, а значит, его бы ни за что не взяли в дипломаты. Ходили слухи, что мать Ён Чжу, чтобы свести концы с концами, начала краситься красной помадой и водить домой незнакомцев, пока Ён Чжу была в школе. А платили ей едой и разными продуктами и вещами: рисом, ячменем, углем, одеждой. То, что нельзя съесть или надеть, доставалось Ён Чжу, и тогда она иногда приносила эти безделицы в школу, дарила тем, кто ей нравится, и говорила, будто это отцовские гостинцы с Кубы. Похоже, Ён Чжу хотелось дру-

жить и с Ми Хи.

Она сказала папе, что не хочет дружить с такой нахальной врушкой. Ее поразила такая дерзость. Ми Хи и не знала, что ребенок ее возраста может врать на голубом глазу перед всем классом и учительницей без малейшего признака раскаяния. И злилась, что она остается безнаказанной. «Ты умная девочка, Ми Хи», — сказал папа. И она заметила его странный голос, ниже и тяжелее обычного. «Укоризненный голос», — узнала она. Папа никогда не кричал. Он поддерживал дисциплину по-своему — речью неторопливой, успокаивающей, но жгучей, как закат.

Ми Хи наблюдала, раскрыв глаза и уши.

Папа сказал, что, может, сейчас ей это не понять, но со временем она все поймет. «Не всякая ложь плоха, Ми Хи. Иногда ложь — это способ не навредить другим, а выжить. Остаться в своем уме». Ми Хи непонимающе нахмурилась, но слушала дальше. «Ен Чжу обманывает не для того, чтобы что-то у тебя украсть. Так она скрывает болезненное прошлое. Как будто заклеивает рану пластырем». Немного помолчав, папа присел перед Ми Хи и ласково взял ее за руки. Он казался большим и одновременно маленьким. «Иногда, Ми Хи, самая большая ложь — и самая добрая

— это быть обманутым. Это может приносить бесценное утешение другим, милая».

Ми Хи видела в его глазах печаль, туманный блеск, из-за которого он чуть прикусил губу. Но все тут же скрылось за привычной улыбкой, нежной и обволакивающей, как ириска. Он нежно поцеловал Ми Хи в лоб и крепко обнял. В ноздри ворвался резкий запах его тоника для волос. Ми Хи почувствовала его на вкус — имбирь и анис. От этого аромата у нее всегда кружилась голова, а потом хотелось спать. Она улыбнулась.

Ми Хи поняла, что пытался сказать папа, не понимая, как может только ребенок. На следующий день она подошла после школы к Ен Чжу и поблагодарила. Порадовалась, что Ен Чжу поделилась с ней важным семейным подарком, сказала, что та наверняка гордится быть дочерью своего отца. Попросила больше рассказать о Кубе, обо всем удивительном, что Ен Чжу слышала о внешнем мире от него. Ми Хи чувствовала испарину на лбу, выдающую все ее сомнения, но изо всех сил старалась казаться честной.

И ей никогда не забыть выражение лица Ен Чжу.

«Она знает, что я знаю», — сразу почувствовала Ми Хи.

Ен Чжу смотрела ей в лицо молча, с приоткрытыми губами и пылающими глазами. Ми Хи не знала, то ли она сейчас разрыдается, как ребенок, то ли налетит с кулаками.

Ее лицо скривилось в улыбке — самой чистой и самой грустной, какую только можно представить. Сразу вспомнилась папина улыбка, с которой он рассказывал об обмане. На щеках появились ямочки, но глаза с опущенными уголками налились слезами. Ми Хи видела почти все зубы одноклассницы в сияющей улыбке.

Они шли домой бок о бок и болтали. В основном говорила Ён Чжу, а Ми Хи слушала. Ён Чжу рассказывала о перелете отца на Кубу, как трясло самолет и ревел двигатель; о том, что женщины на Кубе, как известно, ходят полураздетые, часто оголяют бедра или декольте; о том, что кубинцы едят мясо, как следует смазанное чесночным маслом и зажаренное на гриле, и столы у них ломятся под тяжелыми подносами со свиной колбасой, телятиной и бараниной. У Ми Хи так и потекли слюнки, хоть она знала, что все это понарошку. Но то, что Ен Чжу знала о знании Ми Хи, ничего не меняло. Не преуменьшало весь смысл и удовольствие, которое они испытали в тот день по дороге домой. Улыбка и слезы на лице

Ён Чжу говорили, что сколько длится ее история и сколько ее слушает Ми Хи, столько Ён Чжу будет самым счастливым человеком на свете.

Их сблизила общая выдумка.

Ён Чжу и Ми Хи были лучшими подругами, пока не пришлось расстаться в старшей школе.

Папа знал.

Возможно, у него не было доказательств.

Иногда так бывает — не гадаешь, не рассуждаешь. Просто сразу знаешь.

Может, мама верила, что обманула всех, но одного человека все-таки не смогла, он без труда перехитрил ее сам — и это был ее любимый муж.

Он обманул ее тем, что позволил обмануть себя. Она не знала, что он знал.

«Это может приносить бесценное утешение другим», — сказал он тогда Ми Хи.

— Ты не думаешь, что уже пора? — спросила мама, не глядя на Ми Хи. По лбу щелкали капли дождя. — Больше нас здесь ничего не удерживает.

Мама опустила седую голову к груди. Значит, она понимает всю тяжесть своих слов. Ми Хи надо было бы яростно на нее накинуться, но она не смогла. Грудь стиснуло. Она не могла себе

позволить быть лицемеркой — не сегодня.

Мама продолжала:

— Сначала сдамся я, приму на себя первый удар. На это уйдет несколько месяцев. Тебе может понадобиться залечь на дно. Но ненадолго, обещаю.

Ми Хи слушала, как дождь барабанит по кленовым листьям. Услышала первый стрекот цикад из-за толстого одеяла гибких веток. В деревья уже просочилось лето. Скоро стрекот летних созданий заглушился растущим шумом дождя.

Они обе не двигались. Воздух между ними мягко загустел, стал как бархат.

Ми Хи открыла рот.

— Но могут начать на тебя охоту, мама. Ты правда этого хочешь? Придется всю жизнь прятаться и бежать, до конца дней носить выдуманное имя. — Стараясь говорить громче дождя, Ми Хи вдруг поняла, что сорвалась на истеричный крик. Она сама не знала, на маму кричит или на себя.

— Дорогая, — тихо ответила мама, — а сейчас разве не так?

Ми Хи никогда не думала, что на главное решение ее жизни повлияют такие обыденные вещи — рождение ребенка и смерть родителя, будто она ничем не отличается от обычных женщин.

«Может, я правда заслужила что-то обычное в

жизни», — подумала она, хотя и не без угрызений совести.

Ливень унялся до мороси, томно постукивая по витринам, за которыми свет в понедельник горел одиноко, как дорога. Ми Хи промокла насквозь, но не чувствовала холод.

Как часто делала во время дождя, она дошла до станции метро «Чхонджонно» пешком. Но не для того, чтобы поехать на поезде домой. «Чхонджонно» была ее любимой станцией в Сеуле. Хоть она и находилась в самом центре, там никогда не было людей, даже в час пик. Полная противоположность ее знаменитой соседки — станции «Сити-Холл», с утра до вечера забитой людьми, населенной постоянным шумом торопливых шагов. Еще «Чхонджонно» была самой голой и бесцветной станцией в городе. «Сити-Холл» была облицована бордовым кирпичом, в центральном проходе стояли благородные колонны из белого мрамора, а на «Чхонджонно» только однообразная река серого кафеля, жалкое хлипкое прикрытие для огромных бетонных блоков.

Но именно эти бруталистские блоки и манили ее сюда снова и снова, особенно во время дождя. «Серый запах» — так говорила маленькая Ми Хи. Запах ворот на Хенсанском летном поле. Малыш-

ка Ми Хи бегала туда каждый раз, когда замечала в небе собирающиеся темные тучи, только чтобы вдохнуть эту пепельную красу: запах цементного молока, выступившего на огромной гладкой поверхности, мокрой после дождя.

Затхлость и мускус — коктейль ароматов влажной земли и древней бумаги, с ноткой сладких объятий.

Ми Хи мысленно вернулась в крохотный кабинет отца в Хесане, полный старых томиков и полузапрещенных виниловых пластинок. Стопки пожелтевших книг издали знакомый вздох, обдав плесенью и чернилами. Запах ее детства.

Ми Хи знала, что больше никогда не вернется домой. Больше никогда не увидит Хесанское летное поле. Но ей дарило печальное утешение то, что, когда ее настигнут воспоминания об отце, когда она затоскует по запаху детства, она хотя бы всегда может вернуться сюда, на станцию метро «Чхонджонно» под дождем.

РУССО

— Как Арам?

Ее первые слова. После долгого отсутствия ее голос звенит у меня в ушах незнакомо, словно голос знаменитости, но из уст кролика в дубли-

рованном мультике.

— Арам здоров, — отвечаю я, сдерживая слезы. — Только скучает по маме. А я — по жене.

Я снова чувствую себя ребенком, ранимым, в любой момент готовым расплакаться, вечно переживающим, что останется один. Когда родился Арам, я дал ему и себе слово, что он никогда не узнает этой тревоги.

Когда родился Арам, до меня дошли новости о смерти Хо Ёна.

Передозировка опиумом. Тело через четыре дня после смерти обнаружила в его лос-анджелесском дюплексе его девушка-украинка. Она подтвердила, что в последние месяцы жизни он стал чаще принимать наркотики. Особенно героин. И не узнать, случайность это или самоубийство.

Смерть Хо Ёна поглотила бы меня с головой, если бы не рождение Арама.

Наш новорожденный стал черной дырой, куда мы затянулись с радостью. Идеальным штормом, чьи вопли, короткий сон и частое желание есть лишили нас сна и перевернули привычный распорядок. И при этом он наполнял каждый час волшебством. Напомнил о забытом чуде нашего собственного детства: как мы воспринимали мир вокруг, позволяли любой обыденной мелочи или

человеку распалить наши неисчерпаемые запасы любопытства. Находиться рядом с тем, кто так любит жизнь, — необыкновенный опыт.

Моей жене не нравился Жан-Жак Руссо, потому что он бросал всех своих детей после рождения. Учитывая проблемы с гигиеной в парижских сиротских приютах восемнадцатого века, сомнительно, что кто-то из пятерых протянул долго. Она говорила о том, какая это ужасающая ирония: человек, известный как борец за равенство и справедливость, проповедовавший любовь к детству и детскому разуму, оставил собственных пятерых детей на верную смерть сразу же после рождения.

Жаклен Руссо, мой отец, бросил нас с мамой, когда мне было девять. Благодаря маме и бабушке с дедушкой я вырос в любящем и надежном окружении, но его исчезновение оставило небольшую дыру в моей жизни, которую уже не заполнить. Вопросительный знак, которому не выбраться из лимбо вопросов без ответов. Потом в мою жизнь пришел Эме Адель. Философ, у кого на все имелся ответ. Конечно, мне Адель понравился из-за того же, из-за чего нравился Хо Ёну: он был символом надежды и образцом для подражания для всех тайных неудачников западного мира. Но я из-

влек из жизни Аделя не только историю успеха. Его взгляд на брак привел молодого меня, студента Адриена Руссо, в его мир литературы. Эме Адель считал, что традиционный брак обречен: «Путешествие от незаурядности к заурядности». Медленный процесс разочарования. Его фатализм в отношении к браку, хоть и жестокий и пессимистический, стал философским ответом на тайну жизни, неким оправданием, которое я подсознательно искал все детство. Почему мой отец был таким, каким был, почему ни с того ни с сего бросил нас навсегда? Мысль Аделя, будто брак — лишь устаревшая традиция, обреченная на неудачу, сделала уход отца для меня более терпимым, даже понятным. Зародила семя прощения, на которое я не был способен в детстве. Сделала шрам, на который я то и дело косился, не таким отвратительным. Спасла от пожизненной ненависти к отцу. Не завышая ожиданий от окружающих, я легче переносил печаль мира. Такой, как Адель — несовершенный, даже лицемерный, — все равно смог добиться величия и принести людям добро. Может, таким я хотел видеть и отца. Несовершенным человеком, но тоже по-своему великим.

Может, поэтому меня так разозлили ее слова

об Аделе.

Она видела ложные оправдания насквозь, и ей хватило смелости — или прямоты — их для меня разоблачить.

— Во-первых, я хочу, чтобы ты знал: я люблю тебя, я люблю Арама. Все, чего я хочу, — быть с тобой и с Арамом. Мне нужно, чтобы ты это знал.

Сон Ми поджимает челюсть, будто злится — или сдерживает слезы. Знание, что я не один сейчас волнуюсь, приносит облегчение. Ее голос — звенящий и натянутый, как готовая лопнуть резинка. Напоминает о нашей первой встрече в церкви «Новая жизнь», в Шэньяне, когда она рассказывала свою историю жизни. Но теперь она кажется другой. Моложе, ранимее. Пальцы сжаты в кулак, словно в молитве, причем так, что побелели костяшки. Панически трепещут ресницы.

У меня скручивает желудок. Я в ужасе от того, что она может сказать.

По словам моего любимого писателя, мой брак, история двух необычных людей в необычных обстоятельствах, обречена.

Эме Адель говорил, что любовь, расцветающая в экстремальных обстоятельствах, не переживет осени однообразия, повседневности.

Но я уже не пессимистичный подросток, который ничего не знает о любви и отцовстве. Пусть Адель мастерски писал, но в вопросах брака и обязательств в отношениях он был взрослым ребенком. Он понятия не имел об ответственности родителя. Так и не узнал, что это такое — ценить другое человеческое тело выше собственного. В его голове все сводилось к абстракциям. Он умер, так и не узнав, каково почувствовать это на самом деле, нутром.

Да и что плохого в банальности?

Без Сон Ми я больше всего скучал по самым обычным вещам.

Прядь ее черных волос на плече моего костюма. Музыкальная тема в стиле босановы из нелепой мыльной оперы, которую она всегда напевала на кухне. Пушистое касание бежевого шерстяного жилета, который она носила дома в холодные вечера. «Человек-ковер», — поддразнивал ее я, или: «Плюшевый мишка, с которым хочется повалять-ся в обнимку». Запах дешевого мыла, которым она умывалась, аромат огурца и лимона от ее подушки. Их с Арамом приглушенное хихиканье из-за двери квартиры — иногда я задерживался на минуту, просто чтобы насладиться звуками бесхитростного счастья, перед тем как открыть

дверь и вернуться домой. Мне не хватает этих мелочей нашего быта. Пустяков, которые имеют значение только для меня — для нас.

С приоткрытым ртом она смотрит под ноги. У меня сжимает грудь.

Снова наступает молчание — громче и оглушительнее крика.

Пока она собирается с мыслями, я оглядываюсь — мы сидим на скамейке в парке Сон Ки Чжона. Клены повсюду отбрасывают тени, оставляя только кое-где нежно дрожащие пятна света. Я поднимаю голову. В небе сияет оранжевый диск. Раньше воздух наполнял громкий летний стрекот цикад, но теперь его пронзает одинокое чириканье сверчков. Пришла осень.

«Так вот где ты гуляешь в одиночестве», — думаю я.

— Почему ты захотела встретиться здесь? — спрашиваю я.

— Потому что маяк не освещает свое основание, — бормочет она, словно во сне, все еще не отводя глаз от земли. — Это последнее место, где меня будут искать.

Ее странный ответ вызывает у меня дежавю. Что то с металлическим лязгом щелкает в голове. Хочется переложить чувство в слова, но я молчу:

лучше услышать ответ в ее словах, в ее ритме. К тому же, как ни странно, у меня такое чувство, что я и так наполовину знаю ответ. В моем желудке бьются две бабочки — надежда и тревога.

Наконец она смотрит мне в лицо и открывает рот.

— Мне надо тебе признаться, Ру. — Она произносит эти слова как отрепетированную реплику из сценария. И все-таки голос ее дрожит.

— Мне тоже, Сон Ми, — говорю я, глядя ей в глаза.

И вижу, как из них отступает давняя тревога. Как на сцену ненадолго выходит удивление, а потом возникает уже знакомое любопытство — с примесью страха. Вот теперь она понимает, что я чувствую. Наши секреты сближают нас заново.

И Ми Хи представляется: сначала как враг, но потом как друг.

Восьмая жизнь

8 жизней госпожи Мук

Перспектива смерти многих наделяет честностью, но кое-кого может толкнуть и в противоположном направлении. За время написания некрологов я повстречала немало мастерских выдумщиков. Я просила вкратце рассказать о жизни, а они сочиняли целые легенды — смесь из своих страданий и фантазий. Дедушка Пак Мён И за три месяца до кончины заявил, будто был опытным убийцей, который по заданию проникал в Северную Корею и чуть не прикончил Ким Ир Сена. Но когда я позвонила в Ассоциацию ветеранов HID[44], отдел секретных операций ВС Республики Корея, и сообщила данные господина Пака, мне сообщили, что солдата с таким именем и описанием у них никогда не было. Другой девяностолетний старик, дедушка Кам По Ён, признался, что был тайным правой рукой Чон Ду Хвана, худшего военного диктатора в истории Южной Кореи, — причем признался с гордостью. Это я даже проверять не стала, сразу почуяла

[44] Примечания: 44
Headquarters Intelligence Detachment (HID) — Разведывательное подразделение штаба.

небылицу: господин Кам был из тех стариков, что трепались о политике с напыщенным видом эксперта, клеймили любого либерала либо коммунистом, либо оппортунистом. Когда он скончался через четыре месяца после признания, нам не прислали официальный похоронный венок. Собственно, не было вообще никакого венка — как и скорбящих.

Мне никогда не давал покоя вопрос: кого эти старики хотели впечатлить своими выдуманными легендами? Меня, какого-то незначительного автора некрологов? Или себя? А может, они верили, что убедительно рассказанная ложь заживет своей жизнью и станет истиной. А может, такими они хотели помнить сами себя, пока еще могут. И я, как могла, старалась уважать их предсмертное решение, внимательно выслушивать без всякого осуждения вне зависимости от того, что думаю. Иногда лучшее и единственное, что можно посвятить чужим страданиям, — свои уши.

Мук Ми Ран была другой. Не из этих отчаянных типов. Начать с того, что она была первой выдумщицей-женщиной, которую я встретила в «Золотом закате». Порой бабушки любили прихвастнуть, но их безобидные преувеличения касались достижений детей и внуков, редко

— своих.

На мой вопрос, как один человек может прожить жизни всех перечисленных персонажей, она ответила с полной уверенностью и твердым взглядом, что в ее времена было возможно все. Какой удивительно обычный ответ для пожилого человека, подумала я.

Самая невозмутимая врушка, что я видела.

И она звала себя не просто убийцей, а серийной убийцей.

— Говорят, такое прилагательное добавляют после троих. Вот тебе тоже любители числа три, — ехидно сказала госпожа Мук.

Я спросила, сколько человек она убила, и она ответила, что четырех. Я была в полном недоумении.

— Тогда почему вы не тюрьме? Сами же говорите, что вы и серийная убийца, и шпионка.

— А Ким Хён Хи в тюрьме? — спросила она. И ни единый мускул не дрогнул на ее лице.

Тут госпожа Мук была права: Ким Хён Хи — бывшая северокорейская шпионка, ответственная за взрыв рейса 858 авиакомпании «Кореан Эйр» в 1987 году, когда погибло сто пятнадцать человек, — не сидела в тюрьме. Она вышла за бывшего агента южнокорейской разведки, который вел ее

дело, и у них родились двое детей. Она спокойно жила свободной женщиной в Южной Корее с тех самых пор, как ее помиловал президент Ро Дэ У[45].

— На своих заданиях я никого не убивала, — сказала госпожа Мук.

— Тогда кто они, ваши четыре жертвы? — спросила я, снова кротко.

— Трое — солдаты. Один — член моей семьи. — Она чуть запнулась на слове «семья».

— Ваш муж? — Только когда эти слова слетели с языка, я поняла, что выпалила их слишком быстро, слишком громко. И увидела, как ее глаза загорелись от любопытства.

— Нелады с мужем? — поддразнила она. За ее губами сверкнул кончик правого клыка.

— С *бывшим* мужем.

И пожалуйста — я произнесла это вслух. Страшное слово. Впервые назвала его «бывшим»,

---

[45] Примечания: 45

Теракт осуществили Ким Хён Хи и неизвестный корейский агент, который покончил с собой. Предположительно, КНДР пыталась сорвать летнюю Олимпиаду 1998 года в Сеуле; КНДР утверждала, что теракт — постановка самой Южной Кореи, организованная для воздействия на свои президентские выборы, а Ким Хён Хи — подставной агент.

Ким Хён Хи была приговорена к смертной казни, но тут же оправдана как жертва северокорейского режима. Сейчас проживает в Южной Корее, автор биографии, политический эксперт, снимается в документальных фильмах. Среди прочего рассказывала, что при подготовке обучалась японскому у похищенной из Японии женщины.

услышала это слово, произнесенное собственным голосом. А вырвавшись, оно уже не казалось таким грустным, таким устрашающим. Моя уверенность окрепла, и я снова произнесла это слово. Мне надо было к нему привыкнуть.

— Мы с бывшим мужем… Мы больше не общаемся.

Госпожа Мук беззлобно фыркнула.

— Счастливых разрывов не бывает, — пробормотала она тихо, будто реплику в сторону для невидимой публики. — Но убила я отца, а не мужа. Мой муж был удивительным человеком. — Ее голос затих на слове «муж».

— Почему вы убили отца?

— Самозащита, — ответила она быстро, словно заученную реплику. — Он хотел убить нас с матерью. — Вернулся ее прозаический голос робота-ведущего.

Я спросила, почему она убила остальных троих — тоже ради самозащиты?

— Ну конечно. — Она с горечью смерила меня взглядом. «Разве может быть иначе, дурочка?» — словно спрашивала она. — Все это было во время войн, — сказала она. Ее пустой взгляд вперился куда-то далеко.

Последовало молчание, но я не посмела его

заполнить.

— Тихоокеанская война, потом Корейская, — продолжила она. — Это были военные преступники. Они лгали. Они похищали и порабощали девушек. Слишком много девушек погибло. Я убила всего троих солдат, чтобы спасти хотя бы кого-то из девушек — и себя.

«Женщины для утешения». Она утверждала, что была жертвой секс-рабства военного времени.

— Собственно, я была знакома с бабушкой Сон Чжэ Сун. — Она замолчала, сделала глубокий вдох. — Мы встретились во время Корейской войны, когда ее звали не Чжэ Сун, а Дженни. Так ее прозвали американские солдаты.

Дженни. Это имя вызвало у госпожи Мук мучительный вздох.

— Я чуть не расплакалась, когда увидела ее здесь, в «Золотом закате». Но она меня не узнала. Ее память вернулась уже слишком далеко в прошлое. Зато я помнила все, что она рассказывала. Истории из детства, о младших сестрах. Только разговоры с ней и помогли мне вынести то время.

Она прикрыла раскрасневшиеся глаза, на лицо вернулась мягкая улыбка. Но постепенно она

уступила место совсем другой улыбке: злодейской, зубастой, снова сверкнул клык.

— Перед тем как сбежать на Север, я освободила тех бедняжек. А потом сожгла дом у Пусана, где их держали. И смотрела, как его пожирает пламя. Тогда я понятия не имела, что из-за этого стану на Юге повстанкой-террористкой в розыске. — Госпожа Мук тихо рассмеялась, в ее смехе мелькнула какая-то зловещая радость. Но потом смех сменился чем-то другим — прошел по грани младенческого лепета и приглушенного звериного рыка. А рык перерос в хохот и затем в кашель, что сотряс ее тощую грудь. Я подбежала, но она меня оттолкнула с силой, которой я не ожидала от таких хрупких рук.

— Отстань, — прошептала она, задыхаясь. — Не трогай.

Я хотела позвать сиделку, но она категорически запретила и сказала, что сиделка ничем не поможет.

— Надо просто успокоиться, только и всего, — проговорила она тихо, стискивая обод инвалидной коляски.

Наверное, стоило на этом прерваться и вернуть ее в комнату.

Я не прервалась. Как и госпоже Мук, мне хоте-

лось, чтобы разговор продолжался. Не терпелось услышать, что еще она расскажет о своих убийствах. Из вежливости я спросила, не хочет ли она сменить тему, и она буркнула «нет», даже на меня не взглянув.

— Как вы их убили? — спросила тогда я.

Хоть госпожа Мук не съежилась от возраста, я не могла представить ее в драке, особенно с обученными военными.

Она протянула руки, раскрыв ладони. Из-под толстых белых рукавов теплой куртки виднелись костлявые запястья. Дрожащие сучья, а не руки, они скорее напоминали об олененке, чем о взрослом человеке.

— А ты как думаешь? В бою? — спросила она. Рассмеялась, и я рассмеялась вместе с ней. — Яд, — вдруг отрезала она. И стоило прозвучать этому слову, как ее лицо изменилось. От лукавой улыбки не осталось и следа, пропали мягкие полумесяцы щек. Как по щелчку, вернулся мертвый взгляд. — Яд повсюду, потому что все может стать ядом, — прошептала госпожа Мук. — Любое вещество может убить — смотря какая доза и как быстро попадет в организм.

Она сказала, яд можно найти даже дома.

— И в тюрьме, и в школе. А уж в таких местах,

как больница или дом престарелых, — сколько угодно. Даже здесь, — пробормотала она и повернулась в сторону длинной и пустой полосы земли, полукругом охватывавшей сад. Это там осенью цвели космеи.

Солнце уже заходило, стало холодать. Я застегнула пуховик до конца, заметила, что у госпожи Мук порозовел кончик носа, и накинула на нее шерстяное одеяло, лежавшее на коленях.

Госпожа Мук и бровью не повела. Все это время она не сводила глаз с пустых клумб. Медленно подняла руку и показала худосочным пальцем на высокий металлический забор за клумбой.

— Там яд, — сказала она. — Слышу его каждый раз, как оттуда дует ветер. — Она, закрыв глаза, вдохнула прохладный воздух с севера, медленно выдохнула. — За тем забором пустырь до самого леса. Нехоженое место, заросшее сорняками. Там, там растет санак — змеиный арахис. Целые кусты. У него особый запах — ореховый и в то же время с гнильцой.

Она жестом велела принюхаться, и, закрыв глаза, я попробовала. Но ничего не почувствовала, не считая зеленого земляного аромата любого пустыря в Пхаджу.

— Это значит, земля там плодородная, — про-

должила госпожа Мук. — Санак не так просто найти. Ему нужна особая почва. Суглинок, песок с примесью глины. Не слишком сухо, не слишком сыро. А такой запах — знак того, что почва там хорошая и плодородная. — И снова глубоко вдохнула ледяной воздух. Потом раскрыла рот и проглотила ветер. Чувствуя, как по спине пробежал холодок, я смотрела, как она причмокивает.

— Санак — это и лечебная, и ядовитая трава. Сжуешь три листочка — если выдержишь запах — и крепко уснешь без снов. Но выпьешь чашку после первой заварки корней — и уже не проснешься. Корни не такие душистые и куда более ядовитые. Но не яд здесь главное. А то, как и когда этот яд даешь. Вот где требуется смекалка. — Ее глаза превратились в щелки. — Солдат проще всего было опоить. Виски и ром, дешевые саке и соджу, — шептала она, сжимая заскорузлые пальцы в кулак. — Они напивались в стельку, солдаты. Особенно под конец войны. Может, хотели стереть спиртом свои грехи и воспоминания, стерилизовать души. — С ее приоткрытых губ сбежал смешок. — А когда они напьются и ищут, что бы еще залить в глотку, лишь бы не приходить в себя, тогда и наносишь удар. Когда они слишком пьяны, чтобы заметить

странный привкус или запах из бутылки. Так я их и убила. — Расслабив сутулые плечи, она откинулась на спинку инвалидного кресла. Опустила руки на подлокотники, ладонями к небу. Словно королева — безмолвная и довольная.

Я не видела угрызений совести.

«Госпожа писательница» — шутливо назвала меня госпожа Мук в нашу следующую встречу.

Новогодние каникулы давно закончились, сад космей вернул прежнюю популярность. Десяток пациентов прогуливались по каменной дорожке или загорали в инвалидных колясках у заборов.

Мы с госпожой Мук предпочитали беседовать наедине, и я перевезла ее в кабинет психолога.

— Никогда здесь не была, — удивилась она, подняв бровь.

Я сказала, что по будням здесь обычно никого нет.

— А значит, у нас полно времени до ужина, — радостно сказала я.

— Здесь ты и пишешь? — спросила она, оглядывая тесную комнату.

Стены были цвета матча латте — предположительно, этот цвет приятен глазу, помогает расслабиться. И все же, оказавшись лицом к лицу с госпожой Мук в столь тесном помещении, я

чувствовала себя на взводе.

Я ответила, что это не мое рабочее место, да и писательницей меня не назвать.

Она резко пожала плечами:

— Ты пишешь о чужих жизнях, и читатели тебя за это обожают. Значит, ты писательница.

Мне было приятно это слышать, я даже покраснела. На моем лице возникла искренняя улыбка — и с зубами, и с деснами. Не самая моя любимая. Я знала, что выгляжу с ней умственно отсталой, и поспешила спрятать ее, но не в характере госпожи Мук было упустить такую слабость. Я ждала, когда она меня подденет.

Но она не поддела. В ее взгляде не было ни намека на насмешку.

— Это твоя мечта детства? Стать писательницей? — спросила она довольно серьезно.

Вдруг я поняла, что еще никогда не была к ней так близко. Сидя напротив в комнатушке площадью четыре квадратных метра, с минимальной обстановкой — столом, двумя стульями и маленьким горшком с эпипремнумом, — я заметила то, чего не видела раньше. Два пятнышка на ее щеках, которые я принимала за ямочки, теперь предстали шрамами — скорее всего, это были оспины. Кожу на длинной шее и ключицах

тоже покрывали шрамы всех размеров. Особенно в глаза бросался тот, что начинался от правой ключицы и спускался наискосок к сердцу.

Она заметила мой взгляд и тихо вздохнула.

— Интересно, откуда? — спросила госпожа Мук.

Я промолчала, но она и так все поняла.

— Сигаретные ожоги, армейский нож и прочее, — пробормотала она и вздохнула еще глубже. — Слушай, прости, но сегодня я не настроена на серьезные разговоры.

Снаружи как раз стало моросить — признак скорой весны. Уже потеплело, но из-за повышенной влажности многие пациенты жаловались на боли в спине и суставах. Госпожа Мук выглядела тише и задумчивей обычного. На ее сутулые плечи давила усталость.

— Да, это была моя детская мечта — стать писательницей, — сказала я с застенчивой улыбкой. — И еще… матерью.

Я почувствовала, как моя улыбка гаснет, и знала почему: «мать». Очередное слово, с которым мне предстояло поработать после «бывшего мужа». Сделав глубокий вдох, я заставила себя его повторить:

— Матерью. Всегда хотела стать матерью. Знаю,

в наше время уже не модно так говорить, но у меня всегда была мечта стать «футбольной мамашей»[46], — усмехнулась я.

— И что помешало?

— Мой бывший. Врач сказал, у него недостаточно сперматозоидов. Я хотела попробовать ЭКО, но он не согласился.

Я рассказала о своем муже: он не был жестоким человеком, за всю нашу совместную жизнь ни разу на меня не накричал, но все-таки был безнадежно упрям. Мне казалось, его твердое холодное «нет» значило «нет раз и навсегда». Я боялась его потерять. Боялась одинокой старости, поэтому согласилась на бездетную жизнь, как он и хотел. В конце концов все кончилось тем, чего я и боялась: одинокой старостью. Но был и плюс: страх уже лишился прежнего ореола. Только оказавшись в кошмаре, которого я всегда боялась, я поняла, что ничего страшного в нем нет. Жить одной не так плохо, как я себе представляла, — мой страх раздул это во что-то невероятное. Не обошлось, конечно, без шока и печали, но они постепенно сходили на нет. Меня все еще время от времени мучили небольшие приступы одиночества, но

[46] Примечания: 46

«Футбольная мамаша» — англоязычное понятие, обозначающее мать, которая часто сопровождает детей на школьных мероприятиях.

с ними я могла справиться. Жить одной было вполне реально — и все легче день за днем.

— Но я все еще злюсь, — призналась я. — Злюсь, что он лишил меня возможности стать матерью. Теперь уже поздно. Менопауза уже — фьють. — Я провела большим пальцем по горлу, будто юмор мог скрыть мою грусть. Почувствовала, как из груди выбирается всхлип, и подавила его. Так я обычно справлялась с гневом: после того как он выплескивался, я чувствовала себя еще более погано и потому превращала его в печаль и хныкала, пока не пройдет. Но теперь, в обществе госпожи Мук, мне не хотелось плакать — не хотелось тратить ее драгоценное уходящее время. И я сдержала слезы.

Но все-таки рассказала, как я психовала, когда он начал лечить бесплодие со своей новой девушкой — всего на пять лет старше его племянницы. Все это время я внимательно следила за лицом госпожи Мук, думая, что вполне в ее духе будет вставить здесь язвительное замечание о моем бывшем. Но она промолчала. Просто медленно кивала, не поднимая глаз.

— Каково быть матерью? — спросила я.

— Чудесно, — прошептала она. — И тяжело.

Она смотрела куда-то вдаль, хоть перед ней

была только зеленая стена. Потом расплылась в улыбке, краснея, как маленькая девочка. Я поняла, что она видит перед мысленным взором свою дочь. И позавидовала всей душой.

— В детстве моя дочь была такой красивой — и такой трудной, — сказала она с горькой радостью на лице. — Что тут скажешь? Яблоко от яблони, — изобразила она смешным голосом. — Говорят, умных растить труднее всего, и, судя по моему опыту, это правда, — продолжила она. — Моя дочь училась в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Лучшем в Северной Корее.

Казалось, от гордости за дочь у нее свалилась гора с плеч: спина распрямилась, придав госпоже Мук торжествующий вид — то же странное настроение я заметила в саду космей, когда она хвасталась, что отравила своих мучителей.

Но еще из-за этой перемены она стала мне ближе — показалась более человечной. Я уже насмотрелась на это выражение лица: гордость и радость бабушек, рассказывавших об успехах детей и внуков. Обнаружить то же самое в госпоже Мук было и удивительно, и отрезвляюще. Значит, она все-таки знала один из самых распространенных языков обычных женщин: язык гордой матери. И снова я ей позавидовала — но в

то же время была за нее очень рада.

Госпожа Мук сказала, что уговаривала дочь пойти в дипломаты, но та склонялась к разведке.

— И я не могла ее остановить, — пробормотала она. — Такая же упертая, как ее мама. — Она не сдержала тихий стон, а потом нервный смешок.

Тут я решила расспросить о втором ее самом интересном персонаже: о шпионке. Но мой вопрос только вернул в ее взгляд холодную невозмутимость. Затем раздался как будто заученный ответ, больше напоминавший запись на автоответчике.

— Мне нельзя говорить о некоторых вопросах национальной безопасности, — сказала госпожа Мук. — Это часть моей сделки с Корейским центральным разведывательным управлением, — добавила она тише.

— Если расскажете, придется меня убить? — попыталась пошутить я, думая, что она подыграет со своим обычным сарказмом.

Но ее ответ был совершенно серьезным и вселил в меня неловкость:

— Я уже слишком старая, чтобы бояться, но это может повредить дочери, ее мужу и моему внуку, которые сейчас проживают в США. — Ее лицо стало строгим и отрешенным, будто она

разговаривала с незнакомкой.

Но после того как я удивилась, что у нее есть внук, на ее лице опять расцвела широкая улыбка, а голос стал обычным.

— Есть. Настоящий красавец. Моя дочь вышла за американца, сейчас они проживают рядом с его родным городом. Преподают в хорошем университете. — В ее осанку вернулась гордость за других, и обижаться за это на нее было невозможно.

Я поняла нежелание госпожи Мук рассказывать о своей шпионской работе. Болтуны из «Золотого заката», например Пак Мён И и Кам По Ён, — с удовольствием перечисляли свои опасные задания, которые выполняли в качестве убийцы и помощника диктатора. Отсутствие родных как будто раззадоривало их фантазию, ведь сыновья и дочери не могли подтвердить эти байки. Я решила, если бы госпожа Мук была настоящим мифоманьяком, она бы с радостью ударилась в шпионские истории и получала от них такое же удовольствие, как те старики.

Или нет?

Попугай сомнения у меня на плече хрипло произнес неприятную истину: госпожа Мук могла замолчать просто потому, что ей нечего сказать.

Как она будет говорить о работе, которой в жизни не занималась? Как разбрасываться терминологией, если та для нее — темный лес? Лучше всего защитить фальшивую личность простым молчанием. Как часто говорят в полиции, люди выдают себя, когда слишком много болтают.

Да и то, что ее дочь и зять — профессора в американском университете, снова разожгло во мне сомнения.

«Они живут в США». Обычная фраза в «Золотом закате». Многие пожилые люди, особенно те, у кого нет родных или кого почти никто не посещает, утверждали, будто их дети, братья и сестры живут за границей, в основном в Америке. И все они обычно врачи и юристы, профессора и бизнесмены. Кто-то говорил правду, чьи-то слова было трудно проверить, а некоторые откровенно привирали. Одни — чтобы сохранить лицо, другие — чтобы защитить родных от критики, чтобы их детей не звали неблагодарными за то, что они не навещают родителей.

Так или иначе, у любой лжи была одна основа: Америка — страна возможностей, страна невероятного богатства и могущества. Сейчас бытовые условия средних американцев и южнокорейцев не так уж отличаются, но разум стариков отстал

от жизни. С возрастом в их разуме на первый план выходили воспоминания молодости: пережитая ими Корейская война; могучая рука Америки, сыгравшая в ней свою роль. В конце концов, госпожа Мук, несмотря на то что поразительно отличалась от женщин своего поколения, тоже могла мечтать о власти и успехе или хотя бы их видимости, как и многие другие в ее время, у кого главной целью в жизни было не остаться нищими и обездоленными.

Потом я заметила, как же трудно оставаться нейтральной. Вспомнила, что решила быть слушательницей, которая будет признательна госпоже Мук за любую историю, будь то правда или ложь. Я верила, что мое внимание к ее жизни — такой, какой она сама представит ее в своих словах, — самый ценный дар, который я могла поднести ей на этом этапе. А в действительности то и дело ловила себя на том, что делю ее рассказ на удобоваримые отрывки, чтобы подловить на лжи. Чем больше я ее узнавала, тем сильнее хотелось вычленить факты. Чем больше проникалась ее жизнью, тем сильнее хотелось, чтобы ее истории были правдой.

Я с усилием вернулась в настоящее и взглянула на старушку, сидевшую передо мной.

Ее глаза блуждали по комнатушке. Какое-то время она смотрела на низкий потолок, потом перевела взгляд на эпипремнум в глиняно-красном горшке, стоявшем в углу. Его глянцевые зеленые листья в форме сердца теснились, выпрашивая больше пространства.

— Бедняжку пора пересадить в горшок побольше, — пробормотала она тихо, наклонившись к эпипремнуму. Пригладила пышные листья сухощавыми пальцами, опустила голову и принюхалась. — Знаете, как оно называется на Западе? — спросила она, но не дала времени подумать и сама быстро ответила на собственный вопрос. — Дьявольский плющ, — прошептала она. — Я слышала это в детстве от канадского миссионера и решила, что растение наверняка очень ядовитое, как санак. Но нет. На Западе его зовут дьявольским плющом просто потому, что он растет где угодно и зеленеет даже в темноте.

Я сказала, что эпипремнум есть и у меня дома по той же самой причине: он выносливый и неприхотливый.

Ее улыбка развеялась, взгляд сдвинулся от зеленых листьев к низкому потолку.

— Знаешь, чего мне больше всего не хватает в «Золотом закате»? — спросила госпожа Мук,

не глядя на меня. — Не то чтобы я жалуюсь. Он не хуже других домов престарелых, — быстро добавила она и покосилась в мою сторону.

Я спросила, чего ей не хватает. Ночевок на улице, ответила она.

— Ненормально, да? — Она фальшиво рассмеялась, все еще не отводя взгляд от потолка. — Раньше я это ненавидела. Ненавидела всей душой, когда приходилось спать под открытым небом во время Корейской войны. Почти все дома были разрушены бесконечными бомбежками. Я сбилась со счета, сколько раз приходилось ночевать без крыши над головой. — Голос госпожи Мук зазвенел. Ей пришлось замолчать и перевести дыхание. — По ночам на улице очень холодно. Если идет дождь, обязательно простудишься. Многие беженцы так и погибли — не от бомб или пуль, а от переохлаждения, пневмонии, сырых холодных ночей. Но иногда, в хорошую погоду, когда на небе ни облачка, просто дух захватывало. Самое красивое небо, что только бывает. В такую ночь я впервые увидела падающую звезду. Иногда человеческий шум утихает настолько, что так и слышишь, как на тебя дышит луна — четко и очень громко, — прошептала она, потом хихикнула тихо, будто малыш от щекотки: — Хо-

тя мой муж говорил, что это просто стрекочут сверчки. Луна такая зрелая, круглая, такая яркая, что можно пересчитать все впадины. — Госпожа Мук передернулась, словно по коже пробежали мурашки от холода. Жутковатая эйфория на ее лице завораживала. — Время от времени я заставляла себя не спать, упиваться всем этим от начала до конца.

Она описывала, как вздыхал и свистел под темным небом тихий ночной ветер, описывала яркие, словно миллион застывших во времени фейерверков, звезды. Описывала, как ей нравилось наблюдать незаметный переход от ночи к рассвету, когда по горизонту томно разливается бледно-голубой блеск утра.

— Хотелось бы теперь переночевать на улице, — сказала она, глядя в потолок. — В моем возрасте дни так коротки, зато ночи — нескончаемы. Сон беспокойный.

Она сказала, что лучшее место, чтобы прилечь и наблюдать за ночным небом, — это поляна у леса, за высоким садовым забором.

— Собрала бы там заодно санак для бессонных ночей. Такому древнему иссохшему организму хватит и листика. — Улыбка тронула ее губы. — Проспать бы целую ночь, как младенцу.

Мне стало неуютно. Я не понимала, то ли это ностальгия, то ли она незаметно вынуждает меня нарушить ради нее правила — устроить побег.

— Санак бы и тебе не повредил, — бросила она небрежно.

Я спросила, что она имеет в виду.

— У возраста есть неожиданный плюс. С годами перестаешь бояться того, что когда-то приводило в ужас, — продолжала госпожа Мук, пропустив мой вопрос мимо ушей.

— И как мне помогут травы? Сплю-то я хорошо, — сказала я.

— А знаешь, чего в своем возрасте не боюсь я? — спросила она, положив подбородок на ладонь, будто дитя с невинным любопытством. Последовала мучительная пауза. — Пожизненного приговора. Смертной казни, — пробормотала она.

Я перестала спрашивать. Просто смотрела на нее одновременно с легким раздражением и интересом.

— Что случилось бы с тем безответственным негодяем, с тем лжецом, с которым ты когда-то жила? Если бы кто-то выпустил меня на пару ночей…

Я как язык проглотила.

— Скажи, — сказала она с пустым выражением на лице, — он исчезнет?

Сначала я слышала только пронзительный звон в ушах, который становился все тоньше, резче. Потом вдруг ворвались звуки снаружи: урчание автомобилей, хриплые окрики госпожи Ток Ко; ленивые шаги стариков по коридору.

— Какого хрена вы…

Госпожа Мук сдавленно рассмеялась. Будто ее трясло с ног до головы от икания. К лицу прилила кровь.

— Подловила, — выдавила она, задыхаясь. — Правда же я тебя подловила, а? — Она давилась смехом, пока он не перешел в сухой кашель.

— Вы меня правда напугали, — ответила я, вздохнув и с раздражением, и в то же время с облегчением. Помассировала ей спину, чтобы унять кашель.

Но вечером, по дороге домой, в голове, словно чих, невольно возникла мысль: «А если бы я спокойно слушала дальше и проявила интерес? Она бы все равно рассмеялась?»

У меня был свой ответ. На нем я и остановилась.

На следующей неделе я зашла в администрацию.

Меня никто не остановил, потому что я приходила туда часто, выполняя поручения или забирая документы для директора Ха Ам.

Я просмотрела досье пациентов в поисках лапки Мук Ми Ран. Найдя его, открыла и быстро сфотографировала содержимое — его не набралось даже на три страницы. Успела прочитать во время перерыва и разочаровалась — там было совсем мало того, чего я уже не знала.

Но, вчитавшись как следует, я обнаружила кое- что странное. В фотокопии ее корейского удостоверения личности указывалась дата рождения. Я подсчитала и получила девяносто восемь лет. Не поверив, пересчитала на калькуляторе со своего стола — тот же результат.

По официальным документам госпоже Мук было девяносто восемь лет.

«Послезавтра мне будет сто», — говорила она. И, конечно, я не поверила. А теперь осознала, что кое-что восприняла совершенно превратно. Во-первых, пропустила метафору — «послезавтра». Иногда люди, особенно пожилые, под этой фигурой речи имеют в виду «через год» — такой остроумный способ показать, как быстро в старости летит время. При всем своем живом уме и внешности восьмидесятилетней, госпожа Мук

ничуть не врала. Ей оставалось всего два года до полного века.

От странного прилива энергии я бросилась в кабинет директора Ха Ам. Это был настоящий музей, посвященный материнству. Полки так и гнулись под достижениями ее троих детей: сотни призов и грамот с их именами — от соревнований по тхэквондо и турниров по английскому языку до конкурсов пианистов. Фотографии были повсюду. Дети директора Ха Ам улыбались с рабочего стола и со стен, многие — в красочных рамках из деревянных палочек от леденцов.

При этом пахло в ее кабинете соблазном. Здесь господствовал сладострастный аромат французского парфюма, которым моя начальница щедро опрыскивала пальто. Действовал этот насыщенный аромат роз в зависимости от погоды и вашего настроения: в спокойные дни и хорошую погоду бодрил; в жаркие, влажные и утомительные летние дни от него мутило.

В тот день аромат меня словно оживил, хоть на улице и было тепло. Директор Ха Ам воззрилась на меня, как перепуганный кролик, неподвижно сидя в кресле, и внимательно выслушала мою скороговорку о госпоже Мук: правду о ее возрасте, о том, как она умна, об ужасной ошибке, из-за

которой она попала в отделение «А», и так далее. Договорив, я выдохлась.

Директор Ха Ам вздохнула.

— Я хотела побеседовать с тобой об этом, — произнесла она. — Надо было сделать это раньше. — Она наклонилась и открыла серый металлический шкафчик между стеной и ее столом, скрытый от моего взгляда. Со стуком бросила на стол оранжевую папку: — Старший смотритель и медсестра Ток Ко рассказывали, что ты слишком подолгу сидишь с бабушкой Мук. Они переживают. Как и я.

У меня сжалось сердце. Я не знала, от тревоги или от жалости.

— Два развода и трое детей от двух разных отцов научили меня, что секрет хороших отношений — в здоровой дистанции. Хоть с мужчиной, хоть с женщиной, даже с собственным ребенком. Собственно, с кем угодно.

Вдруг она встала и начала ходить кругами, запустив руки в карманы бархатной толстовки. Ее наряд отвлекал от речи — где вообще найдешь обтягивающий спортивный костюм из бордового бархата? Причем это во мне говорил искренний интерес, а не сарказм.

— Слушай, я знаю, ты хорошая девушка и в

последнее время через многое прошла. Я просто боюсь, что ты ищешь утешение не в том месте.

Мне показалось, что с ее стороны неправильно называть меня девушкой. Мне все-таки, на минуточку, сорок семь. Но это по-своему и умиляло: директор Ха Ам всегда по-матерински относилась ко всем, кто был чуть младше ее, и заботилась о них как могла.

— Будь поосторожней с госпожой Мук. Она не совсем та, за кого ты ее принимаешь, — сказала она.

Я спросила, что она имеет в виду.

— Знаю, я уже говорила, что это не работа моей мечты, но это не значит, что я работаю спустя рукава. Я всегда поддерживала здесь порядок. Пациентов хорошо кормят, купают их дважды в неделю — и я никогда, ни разу не обманывала государство. Вот почему в нашем листе ожидания столько людей. За место в «Золотом закате» даже пытаются давать взятки. Но я всегда наотрез отказываюсь. Я следую правилам. Бабушка Мук получила у нас место, потому что сбежала из Северной Кореи. У перебежчиков из Северной Кореи, как и у родственников военных героев или борцов за национальную независимость, есть льготы при поступлении в общественные об-

разовательные и медицинские учреждения. И то, что она перебежчица из Северной Кореи, наверное, единственный подтвержденный факт о ней среди всего, что она рассказывает. — Директор Ха Ам снова вздохнула. Покачала головой и сложила руки на груди, отведя взгляд. — Перебежчики часто врут о возрасте. Молодые притворяются, будто они еще моложе, чтобы бесплатно учиться в университете, люди постарше притворяются, будто они еще старше, чтобы претендовать на социальные льготы. Часто меняют и имена. Мы же не можем проверить их биографию за границей, да? Поэтому на Юге их выдумка становится правдой, закрепленной удостоверениями личности, — сказала Ха Ам с горькой улыбкой. — Я их, конечно, не виню. У них есть право начать заново, — неохотно добавила она. Затем открыла оранжевую папку на столе.

— Мук Ми Ран. Странное имя, скажи? Мук — не самая распространенная фамилия в Южной Корее, да и Ми Ран — слишком современное имя для старушки почти столетнего возраста. — Она перевернула папку и придвинула прямо мне под нос. — Мне нельзя это показывать никому, кроме медицинского персонала, но ради тебя я нарушу правило, — добавила она, немного поко-

лебавшись.

Передо мной лежала медкарта, исписанная нечитаемым почерком врача. На меня тут же навалились раздражение и усталость. На моем самочувствии начал сказываться душный парфюм Ха Ам наряду с повышенной влажностью в кабинете. Я спросила, что все это значит.

Директор Ха Ам молча перелистнула страницу. Я увидела с десяток крошечных черно-белых снимков — МРТ головы.

— У бабушки Мук опухоль мозга. Неоперабельная. Размером с теннисный мяч… — Ха Ам замолчала.

Я не знала, что сказать, хотя сидела с открытым ртом.

— Бабушка Мук всегда была особенной. В хорошем настроении любит поговорить, как ты уже сама знаешь. И за словом в карман не лезет. Многим она кажется интересной и милой. Другим — грубой и самодовольной. Она часто поправляет ошибки в речи несимпатичных ей работников, просто чтобы подействовать на нервы. — Ха Ам усмехнулась.

А я хотя бы поняла причину неприкрытой враждебности Ток Ко к госпоже Мук. Ха Ам снова приняла печальный вид и продолжила:

— Но вот ее лицо — то, как иногда его выражение сменяется за секунду, будто его срывают с лица, да? Или привычка вдруг уставиться в пустоту посреди разговора. Это уже что-то новенькое. Мы считаем, это опухоль.

Мои ладони взмокли от пота.

— Мы поселили ее с бабушкой Сон отчасти потому, что они ладят. С Мук бабушка Сон намного спокойнее, чем с любой другой пациенткой. Но главная причина — у них обеих пика.

Пика. Я словно поняла, что это значит, еще до того, как услышала объяснение.

— Они обе едят несъедобное, особенно вредное. Бабушка Сон славится тем, что то и дело пытается есть свои фекалии, а бабушка Мук — ну, она ест землю, — прошептала Ха Ам. «Земля». Директор произнесла это с таким стыдом, будто речь шла о непристойном поведении. Лицо у Ха Ам было красным, как помидор. — В начале прошлого года Ток Ко поймала бабушку Мук за тем, что та набивала рот почвой в саду космей. Ей на неделю запретили прогулки. На следующей неделе мы заметили, как она ворует землю из горшка с рождественским кактусом в вестибюле.

Я ничего не понимала. Земля — это последнее, что у меня ассоциировалось с такой остроумной

и надменной госпожой Мук. Представить ее на коленях, пихающей в рот землю горстями, было так же трудно, как представить директора Ха Ам в монашеской рясе.

Моя начальница придвинула оранжевую папку к себе и перелистнула еще пару страниц. Вернула мне. Массируя виски, попросила взглянуть на фотографию.

Я не сразу поняла, что вижу.

Текстура перебродившего теста, беспорядочно перемешанного и раскатанного.

Я присмотрелась. И тогда увидела длинные кривые шрамы, поверх которых, как перекошенные занавески, свисала огрубевшая дряблая человеческая кожа: словно на животе огромные жабры.

У меня закружилась голова.

— Доктор Ко сообщил мне после первого ультразвука, что у бабушки Мук нет матки, — сказала Ха Ам. Ее пальцы на висках двигались все отчаяннее. Она выглядела грустной и сердитой. — Он сказал, что шрамы очень старые. Сказал, что ни один врач в своем уме уже не проводит гистероэктомию таким варварским методом. Видимо, это случилось в ее молодости. Она не могла выносить ребенка, бедняжка. Она сама и написала в анкете

при поступлении, что у нее нет детей.

У меня пересохло во рту. Так долго я держала его открытым, не находя слов.

— Мне говорили, в последнее время ее басни все завиральнее, особенно в твоем присутствии. Не знаю, то ли дело в опухоли, то ли в ней самой, но это и неважно. Потому что главным образом меня заботишь ты, твое благополучие.

Я не могла посмотреть директору Ха Ам в глаза. Было такое ощущение, будто я соучастница этой мифомании.

— Если магическое мышление приносит бабушке Мук счастье под конец жизни — пожалуйста. Я за нее только рада. Скоро она уйдет, и никто не поймает ее на лжи. Но ты, милая… — Снова вздох. Долгий, хриплый. — Ты слишком увлеклась ее рассказами. Не забывай: ты сама оправляешься после лжи, которая разрушила твой брак. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как ложь опять причиняет тебе вред, особенно когда ты такая уязвимая и приходишь в себя после развода.

Мое сердце стало часами. Я слышала, как оно тикает — громко и четко.

Я взяла отпуск. Почти две недели. Директор Ха Ам разрешила. Сказала, что мне на пользу пойдет путешествие. Но я почти не выходила

из дома. Вечерами смотрела старые фильмы по кабельному. Днем читала романы и много спала. Все еще заставляла себя ходить три раза в неделю в спортзал — за этим исключением я не ступала за порог.

Я зализывала раны. Мне предстояло подумать о многом: о моем браке, моем бывшем, моей начальнице. Но в основном я думала о госпоже Мук. И о ее историях. И о моем отношении к ним. Хоть я всегда сомневалась в их правдивости, хоть все равно обещала себе всегда оставаться их преданной поклонницей, теперь, услышав разоблачение этой наглой лжи от другого человека — человека с авторитетом и доказательствами, — я испытала шок. Вспомнилась ироничная встряска после того, как я узнала правду о своем бывшем: я знала, что большинство мужчин изменяет, но все равно была в шоке оттого, что и мой такой же. Я злилась на госпожу Мук.

Но и жалела. Мне было грустно, что ей, как тем дедушкам-фантазерам, пришлось выдумывать новую жизнь ради искупления. Последнее счастье, что она для себя выбрала, было иллюзией. Мне было грустно, потому что казалась-то она не такой, потому что она заслуживала намного большего. И могла воспользоваться своим необы-

чайным умом куда конструктивнее.

И опухоль. Размером с теннисный мяч и все растет. Вот из-за чего я проведала ее опять, напоследок. Несмотря на обиду из-за предательства, я знала, что должна поговорить с ней — ради себя самой: мне будет ужасно стыдно, если я не закончу начатое. Надо было попрощаться как следует. Я боялась, что неоперабельная опухоль, эта бомба замедленного действия у нее в голове, лишит нас шанса на последний разговор.

Мы встретились в саду космей. Я не могла вывести ее из дома престарелых ночью, как она хотела, но была способна хотя бы помочь насладиться идеальным солнечным днем в саду, где уже наступила весна. Ветки были усыпаны ярко-зелеными почками, высохшая трава песочного цвета сменилась здоровыми зелеными побегами. Воздух покалывал, как осколки льда, но ветер, ласкавший щеки, скорее бодрил, чем морозил. Повсюду громко пели птицы.

Ее, как обычно, привезли в инвалидной коляске. В этот раз с ней была госпожа Хван — самая младшая медсестра отделения «А». И самая энергичная.

— Приятного разговора, — пожелала она своим меццо-сопрано. По упитанным щекам расплы-

лась улыбка. И добродушие Хван оказалось заразительным.

Бабушка Мук выглядела спокойнее и расслабленнее обычного. Несмотря на славную весеннюю погоду, она все равно сидела накрыв колени толстым зимним одеялом. Я спросила, не холодно ли ей, и она ответила, что все хорошо.

Я зареклась начинать до того, как она насладится погодой, но мне не хватило терпения.

— Вас правда зовут Мук Ми Ран? — спросила я после недолгой паузы.

— Нет, — ответила она просто и без малейших колебаний. Взгляд оставался ровным и спокойным. Ни намека на чувство вины.

Я удивилась. Я же спросила, даже не поздоровавшись, надеясь застать ее врасплох.

— Тогда как вас зовут?

— Смотря что ты имеешь в виду под моим именем, — ответила она все тем же голосом.

— Имя, которым вас называли дочь и муж, — невозмутимо сказала я.

Она хмуро взглянула мне в лицо. «Ц-ц» — поцокала она языком.

— Думаешь, южнокорейская разведка разрешила бы сохранить северокорейское имя? Я же говорила, что у меня с ними тайный договор. Ты

еще не забыла, что я рассказывала? Мне есть кого защищать. — Теперь ее голос казался сухим и напряженным. Она резко хмыкнула.

Меня тянуло грызть ногти, но я с этим справилась.

— Хочешь знать, как меня называли муж и дочь? Ён Маль. Но и это не мое настоящее имя. Какое тебе надо? У меня их целый список. Английское — Дебора. Японское — Каё. А ты чего ожидала?

Она злилась. Хотя злиться тут надо было мне.

— Почему вы не сказали об опухоли мозга?

— А я что, обязана? — Она обожгла меня взглядом, потом покачала головой. Гнев сходил на нет, оставляя раздражение. — Какая разница? Если бы я сказала, ты бы с самого начала меня жалела. Мне не нужна сентиментальность, милая. Я уже прожила средний срок женщины. Какая теперь разница, от чего умирать — от опухоли мозга, ангины или рака? А может, от сердечного приступа или гриппа? Смерть есть смерть. Я все равно уже умираю, с опухолью или без.

— А ваш ребенок? Ваша дочь в Америке? — Я услышала, что мой голос дрожит.

Госпожа Мук не вспылила. Но с ее лица словно схлынули все эмоции. Остались лишь пустой

взгляд и поджатые губы. И почему-то это было даже хуже, чем если бы она сердилась и ругалась.

— Если собираешься играть со мной в «правду или ложь», я пас, — пробормотала она, как искусственное голосовое сообщение. На хрупких руках выступили фиолетовые и голубые вены, когда она медленно развернула коляску от меня.

Я схватилась за ручки. Она оглянулась и пронзила меня ледяным взглядом. Я тихо попросила прощения — совершенно искренне. Попросила еще раз, и тогда она отвернулась ко входу в сад. Не глядя спросила, за что я извиняюсь.

— Я не хотела вас допрашивать. О семье.

Она так и сидела, не издавая ни звука.

— Если не хотите рассказывать о семье — хорошо, я уважаю ваше желание. Но, думаю, я все равно заслуживаю объяснений. В конце концов, вы сами выбрали меня, чтобы написать о вашей жизни. Вы первая обратились ко мне.

Я не видела ее лица, но чувствовала, как меняется ее настроение. Ладони так и лежали на ободах, но все еще не толкнули коляску вперед.

— Вы можете рассказать, зачем едите землю? Я не осуждаю. Просто хочу понять.

Она фыркнула. Этот короткий и хрустящий звук. Легко пропустить.

Я спросила, не опухоль ли вызвала геофагию.

Она развернулась ко мне. Я почувствовала глубокое облегчение.

— Нет. Я ела землю и в раннем детстве. Очень часто. И много. Потом на какое-то время бросала, но всегда начинала опять, как безнадежный алкоголик, который не может завязать. А в тридцать всякое желание пропало — вот так, по волшебству. — Щелк! — она щелкнула длинными, как у скелета, пальцами. На лице появилась странная ухмылка. — Полвека без рецидивов. А потом откуда ни возьмись — опять началось. Будто привычка никуда и не уходила. — Ухмылка переросла в полноценную улыбку, как у счастливого ребенка.

Она описывала свое состояние на языке болезней — «рецидив», «алкоголик», — но при этом лицо ее озарялось от эйфории, как у человека, который после долгих лет вновь стал чувствовать вкус.

Она сказала, что с возрастом люди словно возвращаются в прошлое. Бабушка Сон — в свою юность; многие другие старушки с Альцгеймером в «Золотом закате» забывали лица дочерей, а сыновей называли именами мужей. Но другие и без Альцгеймера отправляются в прошлое, по-

своему, сказала госпожа Мук. Всплывают старые привычки, почти вытесненные из памяти. Многие становятся как дети: у них съеживаются тела, они больше не могут ходить самостоятельно, носят памперсы, теряют зубы. И беззубые улыбки все больше и больше напоминают о новорожденных — простодушные и невинные. Люди становятся беспомощными. Им круглосуточно требуются чужие глаза и руки, как малышам. Но главная разница между ними и детьми — у них нет будущего, сказала она. Вот почему можно оправдать их возвращение к старым дурным привычкам. У них уже нет будущего, чтобы его портить, — только короткие мгновения счастья, которых может не быть завтра. Когда у тебя девяностолетний уставший организм и хочется курить, ты берешь и куришь, сказала она.

— Если мне хочется есть землю, как не хотелось никогда, я ее ем. Не собираюсь же я беречь здоровье, чтобы дожить до ста десяти. — Госпожа Мук усмехнулась.

Она сказала, принципу carpe diem[47] не надо учить подростков, которые и так безрассудны, — это девиз для старых съеженных тел, как у нее.

---

[47] Примечания: 47
Лови момент (*лат.*).

— Лови момент. Живи, как будто завтрашнего дня не будет. Буквально, — прошептала она и усмехнулась опять.

Она сказала, старики — как лосось: их разум плывет против течения времени и памяти. Они сами не знают зачем, просто так уж они запрограммированы от природы. Старики часто говорят о кохян — родных местах, где коренятся их воспоминания о детстве. Даже многие беженцы с Севера, кого она встречала в Южной Корее или в Китае, те, кто рисковал жизнью, чтобы сбежать из тоталитарной отчизны, часто видят сны о возвращении в кохян. Они говорят, чаще эти сны переходят в кошмары, где люди гибнут, убегая от северокорейской тайной полиции. Они просыпаются с липкими от пота лицами и подмышками, с криком, застрявшим под языком. Но все-таки время от времени ловят себя на том, что предвкушают эти кошмары — только так они могут вновь увидеть свой кохян.

Она заметила непонимание у меня на лице и спросила, где мой кохян, наверное, чтобы помочь понять.

— Я из Ульсана, Кёнсандо, — ответила я. Но добавила, что не скучаю по Ульсану, даже особенно о нем не вспоминаю. И уж точно у меня нет ни

малейшего желания возвращаться. Мне больше нравилось в Сеуле или в Инчхоне, если на то пошло. — Значит, я еще молодая? — спросила я.

Она категорически возразила. Сказала, что я не скучаю по кохяну, так как знаю, что могу вернуться в любой момент; надо всего-то купить билет и сесть на следующий экспресс от Сеульского вокзала до Ульсана. Но когда точно знаешь, что никогда не вернешься, дело совсем другое, сказала она. И предложила попробовать представить, что мне нельзя обратно в кохян.

— Место твоих первых воспоминаний, где ты узнала, что такое семья и дружба. Ты знаешь, что оно там же, где и всегда, но почему-то закрыто для тебя навеки. Только попробуй представить, — пробормотала она.

Я спросила, по чему из своего кохяна она больше всего скучает. Она ответила, что по земле.

— Разве не странно? — спросила она. — Я безнадежна, да? — И с напускным отвращением поморщила нос.

— Мое первое разведзадание было здесь, в Пхаджу, — прошептала она, и ее взгляд затуманился. — Здесь Северная Корея так близко, что до сих пор в безветренные дни слышно их радиопропаганду. Давным-давно, когда прямо по

соседству, чуть севернее, находилась большая американская военная база, меня послали собрать о ней сведения. Мне приказали составить и заучить мысленный план базы во всех подробностях. До сих пор его так и вижу, когда закрываю глаза. — Сидя с закрытыми глазами, она подняла правую руку. Слепой дирижер с невидимой палочкой. Или балерина: ее пальцы ловко плясали в воздухе, пируэт за пируэтом. — Но теперь от карты нет толку. База опустела, устарела. — Ее голос упал, она медленно открыла глаза. Узкие плечи ссутулились. — Зато земля все та же. Земля Пхаджу похожа на ту, которую я ела в детстве на Севере, в своем кохяне. — И к ней вернулась ностальгическая улыбка.

К слову о возвращении домой, сказала она: у нее есть официальное предложение к «Золотому закату», через меня. Я ответила, что с интересом выслушаю. Она прочистила горло и сказала, что перед главным корпусом надо построить автобусную остановку. Прямо как настоящую — с большой деревянной скамьей, навесом на прочных металлических столбах, стеклянными стенами и крышей, чтобы пациенты грелись на солнышке в хорошую погоду, но были укрыты от дождя и ветра во время грозы.

Она прервалась и усмехнулась, увидев мое удивление. Успокоила тем, что это будет ненастоящая остановка, откуда можно взять и свободно уехать. Задумка ровно противоположная: чтобы все спокойно оставались в «Золотом закате».

Оказывается, листая газеты в читальне, она наткнулась на статью о немецком доме для престарелых с Альцгеймером.

— Здесь не только ты читаешь журналы и газеты, — подмигнула она.

В статье говорилось, что после множества регулярных побегов дом решил поставить рядом с главными воротами маленькую автобусную остановку. Словно лосось, следующий инстинкту, пациенты, выбредая с территории, приходили к ней и думали, что ждут автобуса домой. Раньше часто случались аварии из-за пациентов-мужчин, которые сбегали из дома и плелись по ближайшему шоссе; зимой их находили чуть ли не с гипотермией в большом саду — в кустах и за высокими кленами. Автобусная остановка положила конец этим опасным проделкам.

А в ожидании у стариков на скамейке выпадал случай побеседовать, и они находили утешение в чужом обществе. Автобус забирал их на десятиминутную поездку по окрестностям. А потом

возвращал в дом престарелых, и им говорили, что они дома. Так, чувствуя себя на своем месте, никто не сопротивлялся водворению в комнаты. Возвращались сами — добровольно и с удовольствием.

— Бабушке Сон будет куда лучше в «Золотом закате» с автобусной остановкой, — сказала госпожа Мук. — А вам больше не придется устраивать ночные погони со шприцем галоперидола.

Я ответила, что это блестящая идея, и она просияла улыбкой. Я поблагодарила ее и пообещала сделать все возможное. От моего одобрения госпожа Мук покраснела. В уголках глаз навернулись слезы, и она проговорила одними губами «спасибо». До чего же отрадно было видеть, как она оттаивает!

— Тебе сегодня повезло. — Она промокнула глаза рукавом белого халата.

Госпожа Мук откинула угол лежавшего у нее на коленях толстого одеяла и показала, что пряталось под ним. На костлявых ногах, поставленных на цыпочки, лежал сверток с блокнотами. Она жестом попросила их взять.

— Давай, давай, — нетерпеливо добавила она.

Всего их было семь. Все в мягкой обложке и с тонкой бежевой бумагой, почти прозрачной, как

хан-чжи — традиционная корейская бумага из коры тутового дерева. Каждая страница гладкая, почти глянцевая, приятная на ощупь.

На каждой обложке — одно и то же название: «Восемь жизней». Но под заголовком — разные цифры, от двух до восьми. И каждый блокнот заполнен крупным неровным почерком бабушки Мук.

— Я писала печатными буквами. У меня были только толстые восковые мелки, — пояснила она. — Я же тебе говорила, что в том ящике нет ничего запрещенного, да? — Она смотрела на меня с таким победоносным видом, будто выиграла в споре.

Я вспомнила деревянный комод у нее в комнате, нижний ящик, где заметила стопку бумаги и мешанину мелких разноцветных предметов. Теперь я поняла, что это было и что она имела в виду: в комнатах пациентов отделения «А» запрещались любые острые предметы, включая ручки и карандаши, поэтому бабушке Мук пришлось пользоваться мелками.

Она сказала, что в этих блокнотах вся ее жизнь.

— В них только правда, — прошептала она, — хотя, конечно, в моей версии.

Я спросила, почему она выбрала меня.

— Ты согласилась написать мой некролог. Считай это его расширенной версией.

Я спросила, откуда такое название — «Восемь жизней». Она пожала плечами и выпятила нижнюю губу. «Просто так», — говорил весь ее вид.

— Мы же договорились, да? Восемь слов. Сойдет за причину? — Она снова пожала плечами. — К тому же мне нравится число — прямо как тебе нравится число три. — Она лукаво усмехнулась.

Она пояснила, что вдобавок это и любимое число в Китае, означающее богатство и удачу[48].

— Но самое главное, — пробормотала она, — мне нравится форма. Красивые размашистые изгибы, которые можно изобразить одним движением. Если выписать аккуратно, не будет видно, где начало, а где конец.

Ее палец с размеренным ритмом поэта описал восьмерку в воздухе, на полукругах наверху и внизу он изящно замедлялся и ускорялся, приближаясь к тонкой талии — перекрестью линий.

— А где первый блокнот? — спросила я. — Я

---

[48] Примечания: 48

Многие слова в азиатских языках благодаря созвучиям наделяются особыми значениями. Так, в Китае «восемь» созвучно со словом «разбогатеть» и символизирует богатство и процветание, тогда как «четыре» созвучно со словом «смерть» и считается несчастливым, а в отдельных регионах даже не применяется для нумерации этажей в зданиях.

вижу только со второго по восьмой. А значит, и жизней всего семь. Не восемь.

Госпожа Мук поджала губы и подняла раскрытые ладони с таким видом, будто я ляпнула какую-то глупость.

— Да, где же он? Дописан ли? — вернула она мне вопрос.

Она сказала, что первой главой «Восьми жизни» будет некролог моего авторства. Она не сомневалась, что это ясно покажет, как ее жизнь преобразилась в книгу.

— Доверяю тебе всю власть над книгой, — сказала она с притворной торжественностью, будто священник, прощающий грешника. Ее руки слегка дрожали, когда она меня перекрестила.

У меня хватало вопросов о семи блокнотах, но я решила, что получу ответы, когда их просто прочитаю. Хотя оставался еще один вопрос.

Я спросила, как она находила время писать. Его требовалось немало: несколько часов без перерыва в день как минимум полгода. В отделении «А» за пациентами присматривали круглосуточно. А чтобы упростить эту задачу, существовало насыщенное расписание групповых занятий. Я предположила, бабушка Мук ежедневно использовала каждую свободную минуту, когда сидела с

газетами в читальне.

— Я писала по ночам, — ответила она. — Это самое тихое время. Ничто не мешает думать. — Ее губы растянулись в улыбке. — Я решила жить в одной комнате с бабушкой Сон не только потому, что хотела ей помочь. Она тоже могла помочь мне. Почти каждый вечер бабушке Сон давали снотворное, а иногда кололи галоперидол, чтобы она спала спокойно. Тогда ее и пушкой не разбудишь. У пациентов в комнатах выключают свет, но я писала при свете мобильного.

— У вас есть мобильный? — У меня от удивления дрогнул голос. — Вы же сказали, у вас нет ничего запрещенного.

Она ответила, что мой вопрос касался только нижнего ящика деревянного комода.

— Умолчание? Возможно. Но не ложь.

— Но откуда у вас телефон? — спросила я.

Она опустила голову и тихо выдохнула.

— Просто скажем, что ты не единственная моя поклонница, — ответила она, снова лениво поднимая голову. Ее прищур словно говорил: «Не задавай глупых вопросов — не получишь глупых ответов».

Я вспомнила жизнерадостную госпожу Хван — самую младшую санитарку в отделении «А».

Но промолчала. Не хотела, чтобы прозвучали конкретные имена.

Нас разделила долгая пауза.

Мою голову распирало от самых разных мыслей. Но госпожа Мук словно пребывала в собственном безмятежном мирке. Ее веки, сонные от воспоминаний, уже опускались. Я наблюдала, как морщины у ее глаз становятся глубже, а по лицу медленно расплывается покой.

Я присела, чтобы лучше к ней присмотреться. Приблизилась к белоснежным волосам и вдохнула. Словно щенок после дождя — такой запах всегда ассоциировался у меня с глубокой старостью. Этот сладкий серный воздух успокаивал.

Мы обе смотрели на гигантскую дзелькву за садовой оградой, одинокую, в десятках метров от «Золотого заката». Ветки уже так отяжелели от листвы, что издали дерево напоминало брокколи-переросток. Но если приглядеться, можно было разглядеть рябь тысяч крошечных зеленых листочков, на которые проливался густой вечерний свет. Они горестно трепетали, когда ветер дразнил их края.

Снова почувствовав на лице северный ветер, я перевела взгляд на госпожу Мук.

Увидела, как она делает глубокий вдох, раскрыв

ноздри, словно взбешенный бык. Теперь я знала, чем она упивается.

Глядя в ее старческие лукавые глаза, я задала вопрос, на который не хватало духу раньше, но я чувствовала, что спросить об этом — чуть ли не мой моральный долг, как у священника, исповедующего осужденного перед смертной казнью.

Я спросила, раскаивается ли она за убийства.

Она фыркнула.

— А тебе от этого полегчает? — сказала она. — Если скажу, что сожалею, это будет значить, что я чувствую себя виноватой?

Она закрыла глаза, открыла рот. Сделала еще один глубокий вдох — и на ее лице возникла простодушная, невинная улыбка.

— Я не смею сожалеть, дорогая моя, и не смею прощать.

На следующий день меня спозаранку разбудил звонок директора Ха Ам. Она с холодной самоуверенностью в голосе спросила, известно ли мне уже. В обычных обстоятельствах ее необычная серьезность меня бы напугала, но тогда была суббота, шесть утра, я лежала в постели, еще спросонья, не успев прийти в себя после сна, которого дожидалась с четырех.

— Что… о чем мне известно? — пробурчала я

невежливо.

Услышала долгий вздох.

— Ну хорошо.

В чем бы она ни собиралась меня обвинить, мое искреннее недоумение явно меня оправдывало. Ха Ам продолжила:

— Я боялась, вдруг ты приложила к этому руку. Если да, то я буду очень разочарована.

Я с еще большим раздражением почувствовала в ее голосе остатки притворного гнева.

— Да о чем речь? — рявкнула я.

Ха Ам вкратце объяснила, что случилось ночью.

Я вскочила и оделась. Не стала тратить время на душ. Обошлась без кофе. От услышанного и так по всему телу бежал тошнотворный адреналин. По пути к «Золотому закату» я вспомнила умоляющие глаза госпожи Мук, которые видела вчера. Они просили не расспрашивать, что еще прячется у нее в рукаве. «Не задавай глупых вопросов — не получишь глупых ответов». Я-то решила, что она хочет защитить свой секрет, но теперь поняла, что защищала она меня. Она знала, что мое незнание докажет непричастность. Если бы я хотя бы догадалась о том, что она планирует, то не сдержала бы волнения и чувство вины,

навлекла бы напрасные подозрения у остальных в «Золотом закате».

Сегодня рано утром бабушка Сон проснулась и начала громко хохотать, а потом запела. Чтобы она не перебудила весь этаж, к ней пришли, чтобы успокоить с помощью укола. Но, войдя в комнату, санитары увидели, что в кровати госпожи Мук пусто. Вызвали охрану и прочесали этаж — тщетно. Быстро расширили зону поиска и осмотрели все помещения и темные закоулки «Золотого заката», включая два корпуса, два больших сада и парковку. И все равно ее не нашли. Ни следа, ни признаков взлома: все окна и двери «Золотого заката» оставались запертыми и нетронутыми. Говорили, что госпожа Мук как в воздухе растворилась. Решили вызвать полицию. А директор Ха Ам позвонила мне.

Через несколько часов полиция направилась от «Золотого заката» через пустырь за садом космей к узкой просеке, что вела в темную чащу с высокими березами, и там нашелся первый след: белый халат. Четверо работников «Золотого заката», включая меня и Ха Ам, присоединились к полицейским и углубились в лес. Мы вышли на полянку у северной опушки и нашли ее там.

До сих пор неизвестно, как она выбралась но-

чью из «Золотого заката», никем не замеченная. Одна охранная камера в коридоре сбоила, на остальные она не попала. Дежурный охранник утверждал, что не спал всю ночь и все равно ничего не видел. Полиция заявила, что не будет заводить дело, учитывая, что речь шла о старушке с Альцгеймером и неоперабельной опухолью мозга. Родственники не запрашивали вскрытие. Все просто решили, она скончалась от гипотермии: ночью температура падала до двух градусов Цельсия. Она вышла только в тонком белом халате и резиновых сандалиях без носков. Дело закрыли, назвав несчастным случаем.

Когда мы нашли ее на поляне, я была в шоке, но даже не успела это показать, потому что, на удивление, директору Ха Ам было еще хуже. На моей памяти она ни разу не приезжала на работу не накрасившись. На паре ее красных ногтей был сколот лак. Глаза опухли. Я еще никогда не видела, как она плачет: дрожало все тело, как и голос. Я подошла и прошептала, что она ни в чем не виновата. Это было неизбежно, мы ничего не могли изменить.

— Ты же знала госпожу Мук, — сказала я. — Она всегда добивалась своего, так или иначе.

Обнимая Ха Ам, я поискала глазами Хван.

Она стояла за группкой полицейских и плакала, опираясь на Ток Го. Ее всхлипы звучали выше обычного меццо-сопрано, и Ток Ко приходилось обнимать ее и укачивать, как дитя. Шок и скорбь Хван не выглядели притворными и развеяли мои первые подозрения, что это она помогла госпоже Мук с ее последним планом.

Следующий сюрприз ждал во второй половине дня.

Около четырех часов в «Золотом закате» появилась молодая пара. Кореянка и иностранец. Мужчина сразу привлек всеобщее внимание: все-таки государственный дом престарелых в корейской глубинке — не то место, где ожидаешь увидеть европейца. Он был очень высоким темноволосым красавцем. Одежда самая простая — темно-бежевые хлопковые брюки, черные кожаные туфли, черный приталенный пуховик, но от других белых он все равно отличался, как черный лебедь. Две молодые секретарши «Золотого заката» чуть шеи себе не свернули, заглядываясь на него и шепотом обсуждая, как он высок и красив.

На кореянку они почти и не взглянули. «Ничего особенного», — разочарованный шепот секретарш был полон зависти. Рядом со своим

мужчиной она выглядела низкорослой простушкой. Но когда они медленно направились ко мне, я заметила, что она вовсе не маленькая — как минимум на десяток сантиметров выше меня. На ней были темно-синие джинсы и черный тренчкот с серым шарфом. У мочек ушей качались черные некрашеные волосы. Никакого макияжа. Я видела, что они из тех, кто не любит привлекать внимание, но никогда не может его избежать.

У нее были тяжелые скулы и слишком маленький нос, чтобы считаться красивой по корейским стандартам. И все-таки меня она очаровала — наверное, тем, как держалась: такая стройная, стремительная и изящная, словно борзая. Она деловито протянула руку и назвалась Ми Хи — прямо как в кино представляются американцы. Но голос у нее был мягким, а сеульский акцент — безукоризненным, поэтому я не приняла ее за кореамериканку. Хотя все еще гадала, почему она подошла не к одной из шести сотрудниц, стоявших в вестибюле, а именно ко мне. Конечно, там я была самой старшей по должности (остальные — молодые администраторы и сиделки среднего возраста), но обычно я последняя, кто производит впечатление авторитетного человека. И все-таки, несмотря на мое недоумение,

девушка продолжила:

— Я приехала за Мук Ми Ран. Я ее дочь.

И на мгновение весь «Золотой закат» застыл.

Жизнерадостная улыбка на ее лице говорила, что приехала она не на похороны.

Пара ожидала в кабинете директора Ха Ам.

Я никогда еще не видела Ха Ам такой изнуренной. В тот день она, крупная женщина с широкими плечами, выглядела крошечной. Ее придавила к земле череда неожиданных открытий. Ха Ам, чуть не плача, говорила, что ничего не знала о дочери госпожи Мук, сидевшей сейчас в кабинете со своим мужем-американцем, и я верила — она выглядела еще ошеломленнее меня.

Ха Ам умоляла ее выручить. Просила поговорить с ними. Все-таки я была ближе всех с госпожой Мук, уговаривала она, последней, с кем та говорила перед смертью. К своему удивлению, я заметила, что вхожу в кабинет без трепета, хоть и знала, что подписалась сообщить худшие новости, какие только можно придумать. Впрочем, несмотря на все страхи, я сгорала от желания познакомиться с дочерью госпожи Мук.

Тонкие пальцы, такая хрупкая женщина. Сначала я боялась, что, узнав новости, она рассыплется у меня на глазах, чем прорвет и мою плотину

чувств, которую я сдерживала весь день. Но она приняла новости лучше большинства в «Золотом закате». Сначала она словно окаменела. Ни звука, ни движения. Когда ее руки шелохнулись, я уж было ожидала истерики, но она просто зажмурилась, как в молитве. Зато слезы навернулись на большие темные глаза ее мужа. Он положил руку ей на спину, сжал второй пальцы. Я почувствовала одиночество. Но и облегчение. Я знала: то же самое ощутила бы и госпожа Мук, глядя на свою дочь и ее мужчину в их безмолвном единении.

Тишину нарушил тихий смешок Ми Хи.

— Как это на нее похоже, — пробормотала она себе под нос, чуть качая головой. На ее губах возникла грустная улыбка. — А вы Ли Сэри, да? Ее биограф? — Ми Хи присмотрелась ко мне. Она сидела облокотившись на стол и теперь машинально вскинула указательный и средний пальцы, словно с невидимой сигаретой. Ее было не назвать точной копией госпожи Мук, но привычки у них были те же. Быстрая жестикуляция, негромкий голос, сдержанные смех и вздохи. То же странное очарование.

Хотелось признаться, что я не столько биограф, сколько безвестный автор некрологов, но в такой момент возражать не хотелось, поэтому я

промолчала.

— Вы уже наверняка знаете о ней не меньше меня, — сказала Ми Хи. — Да, госпожа Ли?

— Судя по всему, нет, — честно ответила я. Но не смогла себя заставить признаться, что до сих пор даже не верила до конца в существование Ми Хи. Только сказала, что не знала о ее приезде.

— А госпожа Мук об этом знала? — спросила я.

Ми Хи фыркнула — точная копия матери.

— А вы как думаете? — Она снова вскинула пальцы клицу, изогнув брови. — Конечно, знала.

Я рассказала о семи блокнотах, которые мне вчера отдала госпожа Мук.

— Она просила изменить имена персонажей? — спросила Ми Хи.

Я ответила, что нет.

— Вот видите? — Ми Хи закрыла глаза. — Если бы она собиралась жить дальше, попросила бы. Она знала, что делала. — Ее голос затих. Она закрыла лицо ладонями. Сделала несколько глубоких вдохов, потом вернула руки на стол. Ни слезинки, хотя глаза и покраснели. Потом она шепнула мужу на корейском, что хотела бы поговорить со мной наедине.

— Конечно, — ответил он, к моему удивлению, на безупречном корейском. Перед тем как уйти,

прижал ее к себе и долго целовал в висок.

— Я приехала, чтобы забрать маму к нам, в Америку, — вздохнув, начала Ми Хи. — И она об этом знала. Раньше я, сами понимаете, не приезжала из-за наших необычных обстоятельств, но мы регулярно общались.

«По телефону», — подумала я, вспомнив, что полиция так его и не нашла. Я тайком обыскала ее тело, а потом всю поляну, но тоже осталась с пустыми руками.

— Решив сдаться Южной Корее, мы залегли на дно. А потом и еще глубже. Я переехала в Америку с мужем-американцем. Мы ждали, пока я получу гражданство и смогу легально пригласить мать к нам. Так мы хотели — чтобы все было легально, потому что уже устали скрываться. Когда она рассказала об опухоли, я ответила, что это неважно. Все равно сколько, но она будет жить с нами. — Ми Хи резко отвернулась от меня к стене кабинета, завешенной фотографиями детей директора Ха Ам. — Мама так любила Арама, своего внука. — Ми Хи не сдержала дрожь в голосе, но смогла побороть слезы. — Я знала, что ей не хочется уезжать из Кореи. Знала, что ей не хочется в другую страну, в ее возрасте. Она боялась, что будет для нас обузой. Я не сомневалась, что после

переезда она передумает. Но все, что она могла сказать хорошего о нашем плане: «Что ж, будет славно видеть Арама каждый день». — Она уронила голову на грудь. Сложив ладони, опустила их между коленей. Словно извинялась. — Мама знала, — произнесла она едва слышно. — Знала. Что под моим присмотром ей такое уже не провернуть.

Какое-то время Ми Хи сидела тихо и неподвижно. Потом выдавила улыбку. Ее покрасневшие глаза поблескивали от напряжения.

— Чего она точно не хотела, так это чтобы я тут разрыдалась, — сказала она, шмыгая носом. — Она плохо переносила сентиментальность. Не любила показывать свои чувства и видеть чужие. Даже мои. — У нее вырвался печальный смешок. — Единственное исключение — папа. Их чувствам не было конца и края. Никогда не видела, чтобы пары в Северной Корее демонстрировали такую близость. Их даже однажды арестовали за нарушение общественного порядка. Потому что они держались за руки на людях, в Пхеньяне шестидесятых. — Глаза Ми Хи были на мокром месте, но она все-таки улыбалась. — Мама говорила о смерти папы всего раз — когда сообщала мне новость. И больше об этом не упо-

минала. Она чувствовала себя виноватой в том, что мы живем на Юге под новыми именами, а он умер в одиночестве в Северной Корее.

— Думаете, она решила поступить так же — умереть в одиночестве себе в наказание? — спросила я.

Ми Хи молчала. Утерла слезы со щек ладонью, на пару мгновений спрятав от меня взгляд.

— Вряд ли, — ответила я сама себе.

Она молча уставилась на меня красными глазами.

— Может, это одна из причин, не знаю. Но явно не главная. — И уж в этом я была уверена.

Я спросила, есть ли и у нее геофагия, гадая, не передается ли это по наследству.

Сначала ее взгляд опустел, потом она с недоумением нахмурилась. Тогда я поняла, что она просто не знает этого слова. И объяснила.

Ми Хи ответила, что нет, что она приемная дочь, поэтому не знает, передается ли это по наследству. Прошептала, что не знала и о геофагии у матери — та никогда не рассказывала.

В одном Ми Хи, пожалуй, не ошибалась: я неплохо знала госпожу Мук, даже лучше, чем думала сама. Какая странная это штука — человеческая близость, размышляла я. Порой мы

доверяем незнакомцам секреты, которые не можем открыть самым близким. Вдруг у меня заныло все тело до самых костей — нахлынула тоска. Мне будет не хватать госпожи Мук.

Я спросила Ми Хи, готова ли она увидеть тело.

Говорят, мы то, что мы едим. Госпожа Мук перепробовала землю везде, где побывала за жизнь. А значит, она была не только разными людьми, но и разными местами.

Она говорила, земля Пхаджу напоминала ей о северокорейской родине. Пхаджу так близко к Северной Корее, что в тихие дни до сих пор слышно, как северокорейские динамики твердят об устаревших обещаниях, о былой славе. О месте в прошлом, куда уже не вернуться.

Когда я спросила, готова ли Ми Хи увидеть тело матери, та попросила сперва описать, как та выглядела, когда ее нашли. Описать как есть, не приукрашивая. «Мама вырастила меня сильной, — сказала она. — Я выдержу правду».

И я рассказала правду, как ее увидела.

Мы нашли госпожу Мук на маленькой полянке среди высоких берез.

Снова дул ветер с севера, и мне показалось, будто повеяло нагретой солнцем помойкой. Но потом, когда я сделала шаг, когда присела рядом

с ней, запах переменился. Стал и странным, и незнакомым. Могу сравнить его только с ёлму-ча — корейским чаем из кукушкиных слезок. Это непрозрачный злаковый чай, такой густой и молочный, что иногда кажется, будто глотаешь кашу. У него успокаивающий аромат сливок и орехов. Вот в чем ирония санака — «приторного и отвратительного». Это им веяло от ее губ и обеих ладоней. Под ногтями виднелись темные полукруги зелени.

Руки раскинулись по зеленой земле. Белая копна волос у спящей головы напоминала снежную подушку. Мирное забытье ребенка в постели, руки и ноги движутся, изображая силуэт бабочки, прежде чем поддаться сну.

Я присела ниже, потом подняла глаза к небу.

Оно было лазурно-голубое, безоблачное и совершенно безграничное со всех сторон. Такая погода стояла все последние дни, а значит, в пути ночью госпожа Мук насладилась идеальным звездным небом. Меж ее приоткрытых губ я заметила кончик сколотого переднего зуба. Уголки губ чуть приподнялись, будто в улыбке. От этого оспины на щеке навсегда скрылись в паре вертикальных морщинок — этих вечных ямочек.

Пока никто не видел, я как можно аккуратнее

приоткрыла ей рот.

И вот он — язык.

Тот самый неудержимый плут, что помогал ей сменять жизни одну за другой невредимой.

Как я и думала, его покрывала земля, словно кислый слой на леденце.

Благодарности

Многие описанные в романе события произошли на самом деле, хоть я позволила себе вольности в хронологии и подробностях. «Рассказчики» вдохновлены историями выживших на станциях утешения, особенно графическими рассказами «Ее история» (Herstory) от Чон Со Ун, «Песня бабочки» (Song of a Butterfly) от Чон Ги Ён и «Возвращение духов» от Чо Чжун Рэ. Отдельные подробности о жизни в Северной Корее и о шпионаже я почерпнула в книгах «Повседневная жизнь в Северной Корее» Барбары Демик, «Девушка с семью именами» (The Girl with Seven Names) Хёнсо Ли, «Шпион и предатель» Бена Макинтайра и «Ты нужен своей республике» (Your Republic Is Calling You) Ким Ён Ха. Идея о двойнике из рассказа «Я, снова я и родинка» вдохновлена знаменитой реальной историей Арно дю Тиля.

Несколько глав романа выходили в виде рассказов в американских литературных журналах: «Призрак Девственницы на северокорейской границе» вышел в Meridian (лето 2018-го); «Когда я перестала есть землю» — в Black Warrior

Review (осень/зима 2019-го); «Рассказчики» — в Pleiades (зима 2020-го); «Дом вверх дном» — в Shenandoah (осень 2020-го); «Я, снова я и родинка» — в Massachusetts Review (осень 2021-го).

Спасибо моему агенту Никки Риксин; моему редактору Анне Келли из Virago и ее прекрасной команде, в том числе Зои Кэрролл и Хэзел Орм; Мэри Гол и Эмме Купор из Harper; Эрин Уикс, Дженни Мейер и замечательной команде Wendy Sherman Associates, в том числе Калли Дейтрик и Хейди Голл, Пейдж Ричардс и Бриттани Зонненберг; моим друзьям в Сеульском храме, сбежавшим из Кореи, а также Чжу Мён.

Спасибо моим дочери и сыну, моим родителям и Джонафе, моим дяде Киму Чжин Су и тете Ли Чжом Сун, а также моим покойным бабушке Ким Нам Сун и двоюродной бабушке Ким Пён Нё, чей жизненный путь и вдохновил меня на этот роман.

Наконец, спасибо тебе, мой муж, как всегда.

Выходные данные

Миринэ Ли

8 ЖИЗНЕЙ ГОСПОЖИ МУК

Литературно-художественное издание

Издатель *Дарина Якунина*
Генеральный директор *Олег Филиппов*
Ответственный редактор *Юлия Надпорожская*
Литературный редактор *Мария Выбурская*
Художественный редактор *Ольга Явич*
Дизайнер *Елена Подушка*
Корректор *Людмила Виноградова*
Верстка *Елены Падалки*

Подписано в печать 03.03.2025.
Формат издания 84×108 $^{1}/_{32}$. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ № 01443/26.

ООО «Поляндрия Ноу Эйдж».
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, лит. А, офис 422.
www.polyandria.ru, e-mail: noage@polyandria.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленны-

ми материалами в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru

В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» маркируется знаком

